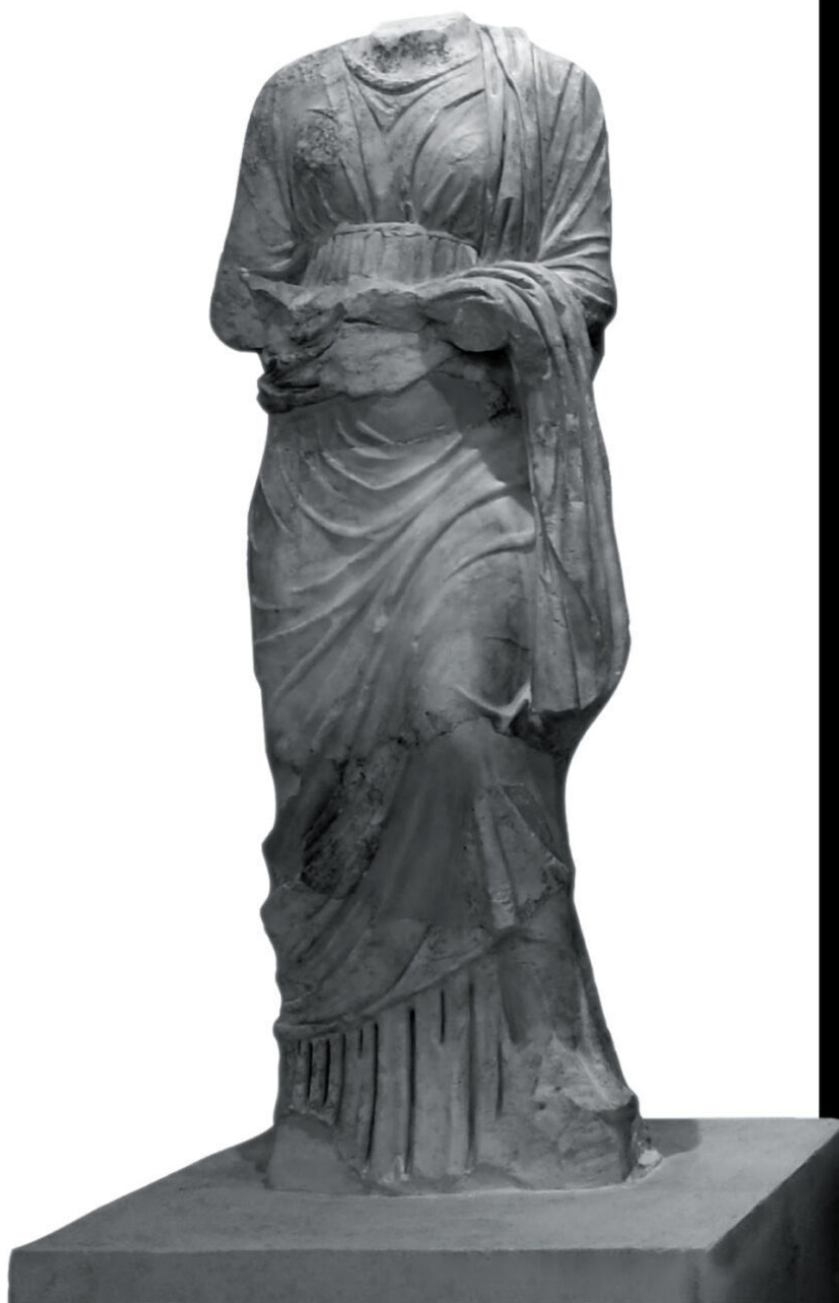


НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА



КЛИО В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Исторический аргумент в гуманитарной и социальной теории

Научная библиотека

Коллектив авторов

**Клио в зазеркалье: Исторический
аргумент в гуманитарной
и социальной теории.
Коллективная монография**

«НЛО»

Коллектив авторов

Клио в зазеркалье: Исторический аргумент в гуманитарной и социальной теории. Коллективная монография / Коллектив авторов — «НЛО», — (Научная библиотека)

ISBN 978-5-44-481448-2

«Новая наука» Джамбаттисты Вико, «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера, книга о Рабле Михаила Бахтина – эти работы давно причислены к гуманитарной классике, и все же вокруг них не утихают споры. С момента появления на свет этих трудов их авторов обвиняют в непростительном философском вторжении в поле предметных наук, в преступлении перед «истиной факта». Авторы этой коллективной монографии рассматривают, как создатели гуманитарных и социальных теорий – от раннего Нового времени до наших дней – заимствуют аргументы и фактический материал, традиционно относящиеся исключительно к компетенции историков. Книга охватывает три проблемных поля: роль истории в неортодоксальных трудах, таких как вышеперечисленные работы Вебера или Бахтина; исторические методы в дисциплинах, совмещающих историю и теорию (историческая социология, историческая поэтика); обращение к историческому нарративу в работах социологов, правоведов, экономистов и других исследователей, редко заходящих на территорию соседей-историков. С одной стороны, авторы рассматривают, как исторический материал трансформируется в теорию, а элементы интеллектуальной культуры прошлого воскресают в актуальной гуманитарной философии и теории; с другой стороны, они исследуют способы присвоения исторического аргумента в подчеркнута исторических дисциплинах. Совмещение разных оптик призвано открыть область продуктивного взаимодействия между теорией и историей, в которой первая не отрывается от породившего ее социально-исторического бытия, а вторая не сводится к голому факту или теоретически бесплодному объекту исследования.

ISBN 978-5-44-481448-2

© Коллектив авторов
© НЛО

Содержание

| | |
|--|----|
| PRAELIMINARIA | 6 |
| ОТЦЫ КЕНТАВРОВ И КЛИО IN PARTIBUS INFIDELIUM | 6 |
| НАСЛЕДИЕ ИСТОРИЗМА ⁸⁷ | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 41 |

Клио в зазеркалье Исторический аргумент в гуманитарной и социальной теории Коллективная монография Совместный проект издательского дома НЛО и Института гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Полетаева

PRAELIMINARIA

ОТЦЫ КЕНТАВРОВ И КЛИО IN PARTIBUS INFIDELIUM

И. М. Савельева, П. В. Соколов

Просвещенный читатель, без сомнения, сразу же угадает в заголовке нашего введения отсылку к хрестоматийно известному высказыванию Фридриха Ницше из его письма к Эрвину Роде 1870 г.: «Наука, искусство и философия столь тесно переплелись во мне, что мне в любом случае придется однажды родить кентавра»¹. Этого кентавра, при рождении нареченного «Рождением трагедии из духа музыки», а впоследствии, в пароксизме самокритики, переименованного в «Эллинство и пессимизм», ждал прием, уготованный целому ряду памятников гуманитарной мысли, история рецепции которых в ученом сообществе являет собою, по знаменитому выражению М. М. Бахтина, «стенограмму незавершенного и незавершимого спора»². С самого момента появления на свет над ними тяготеет обвинение в преступлении перед фактической истиной, в непростительной *μετάβασις εἰς ἄλλο γένος* – философской интервенции в поле предметных наук. Таковы, если привести здесь только самые известные примеры, «Новая наука об общей природе наций» Джамбаттисты Вико, «Протестантская этика и дух капитализма» Макса Вебера, «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» М. М. Бахтина. Статус всех этих текстов, принадлежащих совершенно разным временам и авторам, амбивалентен: с одной стороны, их положение в каноне гуманитарных и социальных наук неоспоримо, с другой – они регулярно подвергаются попыткам фальсификации, в попперовском смысле этого термина, со стороны тех «позитивных», «специальных» наук, на территорию которых они заступают и материалом которых пользуются – истории, филологии, социологии, экономики, демографии и других. Уже «Новая наука» Джамбаттисты Вико у первого своего, пусть анонимного и, скорее всего, имевшего к неаполитанцу личные счёты рецензента создала впечатление «вымысла» (*figmentum*), обязанного своим возникно-

¹ Nietzsche F. Briefwechsel, II, I. An Erwin Rohde (Basel, Ende Januar und 15. Februar 1870). http://www.thenietzschechannel.com/correspondence/ger/nlett_1870g.htm.

² Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа // *Его же*. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. С. 307–308.

вением скорее остроумию (*ingenium*) автора, чем его верностью истине (*veritas*)³. Полемики вокруг этих текстов подобны Гераклитову огню, временами возгорающемуся и временами угасающему, но все же вечному: так, первые критические отзывы на «Протестантскую этику» М. Вебера, принадлежавшие перу К. Фишера и Ф. Рахфаля, вышли в свет, соответственно, в 1907 и 1909 гг.,⁴ и, хотя сам рецензируемый автор надеялся закрыть полемику своим «антикритическим заключительным словом» еще в 1910 г.,⁵ она, как читатель может убедиться из нашей книги, продолжается до наших дней и, дерзнем предположить, продлится *usque ad ultimum iudicium* – до Страшного суда⁶. Неистовая полемика, спровоцированная появлением «Рождения трагедии» в цеху классических филологов, «Nietzsche-Wilamowitz Kontroverse», слишком хорошо известна, чтобы специально напоминать о ней читателю⁷. То же относится и к книге М. М. Бахтина о Рабле: первая же рецензия на нее со стороны профессионального историка-ренессансиста, Фрэнсис Йейтс, завершалась пожеланием автору, которого английская исследовательница причислила к русской формальной школе, «лучше оставаться последовательно антиисторическим приверженцем абстрактной науки о знаках», чем вторгаться в область исторических штудий о Рабле, коих он себе совершенно не представляет⁸. Гневная инвектива М. Л. Гаспарова в адрес эгоцентрического «сочинителя небывалой литературы», философа в овечьей шкуре, основана на той же идее: М. М. Бахтин трактует «теоретический конструкт как исторический факт», смешивает, *en bon philosophe*, друг с другом сущее и долж-

³ «Prodiit et ibidem nuper liber sub tit. *Principi d'una nuova Scienza*, 8. Cujus libri Autor quamvis nomen suum eruditos celet, certiores tamen facti sumus per amicum quendam Italum, esse eundem Abbatem Neapolitanum, cui nomen *Vici* est. Agitavit Autor in isto libello novum Juris Naturae Systema aut figmentum potius, ex aliis longe, quam hactenus sueverunt Philosophi, principiis deductum, magisque ad ingenium Pontificae ecclesiae accommodatum. Multo labore contra Grotii et Pufendorfii doctrinas et principia disputat, ingenio tamen hic magis indulget quam veritati, longaque conjecturarum mole tandem sibi ipsi deficiens ab ipsis Italis taedio magis quam applausu excipitur» (*Nova litteraria // Acta eruditorum. Anno MDCCXXVII publicata. Lipsiae: J. F. Gleditsch, 1727. P. 383*).

⁴ *Fischer H.K. Kritische Beiträge zu Prof. Max Webers Abhandlung «Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus» // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1907. Bd. 25. S. 232–242; Rachfahl F. Calvinismus und Kapitalismus // Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Kritik. 1909. Bd. III. Spalte 1217–1238, 1249–1268, 1287–1300, 1347–1366.*

⁵ *Weber M. Antikritisches Schlusswort zum «Geist des Kapitalismus» // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1910. Bd. XXXI. S. 283–344.*

⁶ Публикуемый нами текст Р. И. Капелюшников был впервые издан в виде статьи из двух частей: *Капелюшников Р. И. Гипноз Вебера. Заметки о «Протестантской этике и духе капитализма». Часть I // Экономическая социология. 2018. Т. 19. № 3. С. 25–49; Его же. Гипноз Вебера. Заметки о «Протестантской этике и духе капитализма». Часть II // Экономическая социология. 2018. Т. 19. № 4. С. 12–42. Критический анализ «Тезиса Вебера», предложенный в этих статьях, вызвал «антикритический» ответ И. В. Забаева: *Забаев И. В. Ницшеанский взгляд на столлларовую купюру: чтение веберовской «Протестантской этики» в связи с замечаниями современного экономиста // Экономическая социология. 2019. Т. 20. № 1. С. 20–71. За этим ответом воспоследовала апология Р. И. Капелюшников: Капелюшников Р. И. Ответ современному не-экономисту (комментарий на комментарий). Препринт WP3/2019/02. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. От кого из участников полемики следует ожидать «Antikritisches Schlusswort», пока неизвестно. Из новейших западных работ, в которых анализируется «случай Вебера», см.: *Steinert M. Max Webers unwiderlegbare Fehlkonstruktionen: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Fr.; N. Y.: Campus Verlag, 2010. Разумеется, книга Штайнерта, автор которой выводит «Тезис Вебера» из идеологической ситуации Германии начала XX в. (труд Вебера – «боевое оружие «культурпротестантизма», замаскированное под научное исследование») и провозглашает его «хотя и симпатичным, но исторически ложным» («zwar hübsch, aber historisch falsch»), не замедлила вызвать критический ответ под отсылающим к Никласу Луману заглавием «Was steckt dahinter?» [«Что за этим кроется?» (*нем.*). – *Примеч. ред.*], автором которого стал Иоганнес Вайсс (*Weiss J. Was steckt dahinter? // Archives européennes de sociologie. 2011. Vol. 52. S. 580–587*). Нельзя не отметить почти полную симметрию и синхронность двух полемик в России и Германии.***

⁷ См. образцовое издание текстов, имеющих отношение к полемике 1872–1874 гг.: *Ницше Фр. Рождение трагедии / Пер. с нем. А. В. Михайлова / А. А. Россиус (сост., ред., сверка переводов, вступ. ст., коммент.). М.: Ad Marginem, 2001. С. 217–410. См. также недавнюю коллективную монографию, посвященную этой полемике: «An Winkelmann anzuknüpfen?» Winkelmanns Antike, Nietzsches Klassizismuskritik und ihre Blicke in die Zukunft (Nietzscheforschung. Bd. 24) / R. Reschke (hrsg.). B.; Boston: De Gruyter, 2017.*

⁸ «It would be easier to understand this book if the author were totally anti-historical, bent solely on the “science of signs” in the abstract. But he believes in the historical approach, thinks he is making one himself, and approves Lucien Fiebvre for his “fully justified” method of reconstructing Rabelais’s intellectual milieu. He thinks that his own historical interpretation of Rabelais, combined with his scientific analysis of the images, has at last produced the right answers to the Rabelais problem» (*Yates Fr. A. Selected Works. Vol. X: Ideas and Ideals in the North European Renaissance. L.; N. Y.: Routledge, 1999. P. 162*).

ное и позволяет себе изъясняться «вызывающе неточным» языком⁹. Попытку исчерпывающего доказательства того, что «Тезис Вебера» обязан своим возникновением и неуывающей популярностью «экстраординарному социологическому воображению» его творца и представляет собой («к сожалению») «научный миф», читатель может найти на страницах нашей книги¹⁰.

Положение историко-фактического материала («истин факта») в названных текстах существенно иное, чем в «позитивистской» историографии, у «historiens de M. Thiers»¹¹, однако оно и не таково же, как у творцов «философии истории». В чем причина этой «утопичности»? Виной ли тому взаимная непереводаемость, «неконвертируемость» дисциплинарных языков или, быть может, некое особое качество этих текстов, одновременно провоцирующее и делающее невозможной их окончательную фальсификацию? Дисциплинарная аффилиация всех этих текстов различна: если Вико возводит грандиозное здание своей «Новой науки» на фундаменте «филологии в широком смысле», то есть, по Э. Ауэрбаху, синтеза филологии, истории и права, М. М. Бахтин – на фундаменте литературоведения, то автор «Протестантской этики» реконструирует «индивидуальный тип» рационального капитализма на эмпирическом базисе экономической социологии и истории богословия. Или, быть может, дело в особой «нечувствительности», ἀναισθησία, как называл это Эрвин Роде, специфическом ремесленно-этическом дефекте специальных наук, не позволяющих им увидеть то, что выходит за рамки их дисциплинарной оптики? Характерна особая «ироническая» позиция названных авторов по отношению к «эксплуатируемым» ими дисциплинам: с уверенностью, которая дает основание их критикам для обвинений в гибризме, они притязают на то, чтобы понимать сущность «экспроприруемых» ими наук лучше, чем цеховые ученые – верные стражи их границ и хранители алтарей¹². Poleмика социологов или экономистов с Вебером, филологов – с Ницше или Бахтиным существенно отличается от «внутрицеховой» полемики прежде всего тем, что в этих спорах под вопрос ставится как теоретическое, так и жизненно-практическое оправдание самой дисциплины, ее отношение как к «миру науки», так и к «миру жизни»¹³. Именно поэтому такие полемики всегда происходят в лиминальной зоне¹⁴, они всегда представляют собой «диалог на пороге», Schwelldialog¹⁵. Поэтому же в них теоретические аргументы всегда смешиваются с практическими. Чтобы ответить, скажем, Ницше, филолог должен «выйти из себя», за границы своего «возможного опыта», чтобы со все возрастающим раздражением чувствовать, как доселе верно служивший ему «стальной» меч критического

⁹ Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина (Доклад на международной научной конференции «Русская литература XX–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения». 10–11 ноября 2004. Москва, МГУ). <http://vestnik.rsu.ru/article.html?id=54924>.

¹⁰ Капелюшников Р. И. Гипноз Вебера. Заметки о «Протестантской этике и духе капитализма». С. 439–530 наст. изд.

¹¹ «Историки в духе Тьера» – неодобрительное определение, данное Фридрихом Ницше историкам, которых заботит только описание фактов (см.: Ницше Фр. Несвоевременные размышления II. О пользе и вреде истории для жизни / Пер. Л. Бермана, А. и Е. Герцык // *Его же*. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 1. Ч. 2. М.: Культурная революция, 2014. С. 133). – *Примеч. ред.*

¹² «Совокупное научно-художественное движение этого странного кентавра с чрезвычайной силой, но вместе с тем с циклопической медленностью преследует одну цель: навести мост через пропасть, отделяющую идеальную древность – может быть, прекраснейший цветок германской страсти к югу – от реальной; и этим классическая филология стремится только к осуществлению ее собственной сущности, к полному слиянию и объединению вначале враждебных и лишь насильно соединенных основных своих побуждений» (Ницше Фр. Гомер и классическая филология / Пер. с нем. О. Химона // *Его же*. Полное собрание сочинений... С. 153).

¹³ Гадамер Г.-Г. К русским читателям (1990) // *Его же*. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 7.

¹⁴ См. очень точное замечание одного исследователя о ницшеанских категориях в «Рождении трагедии» как «операторах границ» идентичности культуры: «[Н]а материале аттической трагедии Ницше <...> создает такой образ греков, который, прежде всего, показывает, как последовательно культура может символически делать для себя наглядной непрочность собственных оснований. Регулярно воспроизводимое повторение “дионисийского” опыта отчуждения воспитывало и сохраняло ту интуицию границ собственной идентичности, которая нашла столь впечатляющее выражение в шедеврах греческого искусства» (Müller E. Die Griechen im Denken Nietzsches. В.; N. Y.: De Gruyter, 2005. S. 75).

¹⁵ Да будет нам позволено воспользоваться термином, ставшим известным благодаря М. М. Бахтину: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // *Его же*. Полное собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М.: Русские словари. Языки славянской культуры, 2002. С. 126.

метода превращается в «свинцовое оружие» риторики¹⁶. С подкупающей искренностью и отличавшей его страстностью это ощущение выразил Вилламовиц в ответе Эрвину Роде:

Мерзко. Да и любой спор, спор о мнениях, пусть бы даже и о самых принципиальных, – не остается ли он лишь на поверхности, не затрагивая самых важных различий между филологами будущего и мною? И разве в бой с ними я вступил для того, чтобы исправить ложное разумение, грубые заблуждения и покарать их за филологические грехи? Разве не *общая тенденция, не созерцание искусства в целом, не метод науки* [курсив наш. — И. С., П. С.] заставили меня обратить против подобных устремлений все что ни есть во мне стойкого и мужественного? Нет, тут зияет пропасть, и ее не перейти. Для меня высшая идея – это закономерное, жизненное и разумное развитие мира, – я с благодарностью взираю на великих людей, что, поднимаясь со ступени на ступень, постепенно выводили одну тайну развития за другой, полагая на то труд свой; изумленной душой стремлюсь приблизиться я к свету вечной красоты, какую излучает искусство, какую излучает любое художественное явление; в науке, заполняющей все мое существование, я стремлюсь идти по стопам тех, кто даровал мне свободу суждения, когда я по доброй воле предавал себя им, – здесь же, видел я, попорно развитие тысячелетий, здесь начали затушевывать откровения философии и религии, чтобы на опустевшем месте строил свои кисло-сладкие рожи самый бесцветный пессимизм; здесь статуи богов, какими населила поэзия и искусство наш небосвод, разбивали в куски, чтобы поклоняться во прахе их кумиру своему Рихарду Вагнеру; здесь все построенное тысячекратным тщанием, гениальным озарением сносили и разоряли, чтобы хмельной мечтатель мог бросать озадачивающе-глубокий взгляд в дионисийские бездны, – я не выдержал этого, ибо – но пусть говорит за меня лучший – «такие выпады действуют на наш ум подобно нелепостям, на наше чувство – подобно кощунствам»¹⁷.

Названные нами труды – провокация¹⁸ в отношении не только тех дисциплин, в эмпирическом материале которых их авторы «обналичивают» свои открытия (прочтение архаических мифов как резервуара социально-политических представлений древних обществ, происхождение греческой трагедии из музыки, связь между кальвинистской этикой и «духом» капитализма), но дисциплинарного партикуляризма или, по слову Э. Ауэрбаха, «спецификаторства» как такового. Научная деятельность предстает в этих полемиках как «ответственное поступание». Легко увидеть, как далек этот живой пафос «борьбы за признание» (или даже за выживание), священной войны *pro aris et focus* – во имя алтарей и очагов – от легкомысленной риторики междисциплинарности, мыслящей отношение между предметными науками по «капиталистической» модели максимизации прибыли благодаря использованию возможностей обмена. Вдохновенное *écrasez l'infâme*¹⁹, обращенное Вилламовицем к Ницше, не было повторено в адрес Вебера или Бахтина их критиками лишь вследствие изменения канонов риторики в научных спорах. Названные авторы и сами нередко описывают смысл своей реформы как

¹⁶ Мы позволили себе воспользоваться знаменитыми метафорами, которые Иммануил Кант использовал для описания того, что происходит с теоретическим доказательством в результате выхода за пределы возможного опыта: *Кант И.* Критика чистого разума // *Его же.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 3. М., 1994. С. 570.

¹⁷ Вилламовиц-Мелендорф У. фон. Филология будущего! Выпуск второй // *Ницше Фр.* Рождение трагедии... С. 383.

¹⁸ Ср.: Яусс Х. Р. История литературы как провокация литературоведения / Пер. с нем. и предисл. Н. Зоркой // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 34–84.

¹⁹ Воскликание Вольтера, которое часто переводится как «Раздавите гадину!», выражало отношение мыслителя к официальной религии. – *Примеч. ред.*

создание некоей более подлинной формы самой предметной науки, «склеротизация» которой привела ее к отступничеству от самой себя: так, Вико именовал свою «новую науку» филологией и историей, а Эрвин Роде признавал «артистическую метафизику» своего друга «истинным вдохновенным антиковедением»²⁰.

Названные авторы обладают в отношении предметных дисциплин странным даром дивинации: вплетая в аргументативную ткань своих рассуждений множество ошибок и неточностей, эти «Пенелопы философии»²¹ совершают в провоцируемых ими науках такое «обращение взгляда», которое открывает в них радикально новые эвристические возможности. Виламовиц, опираясь на только одному ему посильную *ingens moles*²² античных литературных свидетельств, сокрушил и высмеял идею Ницше о том, что олимпийской религии предшествовал культ титанов и темных хтонических божеств, но прошло несколько десятилетий, и Карл Кереньи нашел у минойцев то, что его великий предшественник искал у греков²³, а Эрик Доддс, притом без всякой референции к Ницше, средствами скрупулезного филологического анализа развеял (пусть и далеко не в первый раз) столь дорогую сердцу Виламовица иллюзию лессинговско-винкельмановской прекрасной и рациональной Эллады и даже сумел показать истинность того, над чем Виламовиц так потешался – что греки видели сны иначе, чем мы, люди Нового времени²⁴. Уже в наши дни Н. В. Брагинская нашла и реальное воплощение «платонической идеи жанра», знаменитой бахтинской мениппеи, историческое существование которой так решительно отрицал некогда М. Л. Гаспаров, – причем ею оказался, по мнению исследовательницы, текст, переведенный самим же Гаспаровым, – греческий роман «Жизнеописание Эзопа»²⁵.

Ницше говорил о присущем ему особом «озадачивающе-своеобразном взгляде на эллинизм», позволявшем ему в хрестоматийном и привычном – в «добродушном старце» Гомере, у знакомой каждому немецкому гимназисту триады греческих трагиков – найти потаенные глубины, открывающие перед посвященным в философские мистерии эпоптом²⁶ природу «аполлонической кажимости» и «дионисийского опьянения». Настоящая область интервенции этих философствующих филологов – область само собой разумеющегося, они ставят перед собой цель обнаружить те «априорные конструкции», «тайные суждения здравого смысла», которые для самих цеховых ученых остаются слепым пятном. При этом деструкции подвергаются сами представления специальных наук об объективности, достоверности и факте. Предоставим теперь слово для ответной речи оппоненту Виламовица, Эрвину Роде:

[О]бъективность, заявляющая, что, исследуя самую сокровенную суть античного искусства, полагается на одни только «свидетельства», – она по сути иллюзорна, и не более того. Лежащему в развалинах чудному миру древности мы предстоим точно так же, как и всей совокупной природе, – и тут, и

²⁰ Роде Э. Лжефилология // *Ницше Фр.* Рождение трагедии... С. 301.

²¹ Эта знаменитая метафора принадлежит Антонио Дженовези, возглавлявшему первую в Европе кафедру коммерции: *Genovesi A. Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze // Id. Diceosina, ossia della filosofia del giusto e dell'onesto. Vol. III. Venezia: Isidoro Borghi, 1818. P. 86.*

²² Неподъемная масса (*лат.*). – *Примеч. ред.*

²³ «То, что Ницше говорил о греках, представляется особенно оправданным в отношении культуры минойского Крита: она остается совершенно непонятной, пока не постигнут ее дионисийский характер» (*Кереньи К.* Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни / Пер. с нем. А. В. Фролова и Л. Ф. Поповой. М.: Ладомир, 2007. С. 16).

²⁴ См. главу «Система сновидений и система культуры» в кн.: *Доддс Э. Р.* Греки и иррациональное / Пер. с англ. М. Л. Хорькова. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 109–139.

²⁵ См. тезисы к ее лекции под названием «Жизнь Эзопа: единственная мениппея?» на сайте: <https://iocs.hse.ru/news/257161865.html>.

²⁶ Эпопт (*греч.* ἐπόπτης) – в греческих мистериях лицо, прошедшее все ступени посвящения в таинства, вплоть до самой высокой, и допускавшееся к созерцанию драматических действий, представлявших те события из жизни богов, с которыми было связано учреждение мистерий. – *Примеч. ред.*

там перед нами несвязная бесконечность отдельных предметов, побуждение искать для них некое единство исходит из самых глубин нашей натуры, а его мы в свою очередь можем обретать лишь в том единстве созерцающего познания, какое возникает внутри нас самих. К разрозненным обломкам античной традиции можно применить замечательные слова Монтеня: «Il est impossible de renger les pièces, à qui n'a une forme du total en sa teste»²⁷. Мы всей душой хотели бы приблизиться к величайшей культуре древней Эллады, а отсюда – многочисленные попытки постигать ее на основе самых различных, какие только могут быть, воззрений на мир²⁸.

Из этих слов Роде хорошо видно, что «пробуждение от догматического сна», провоцируемое в специальных дисциплинах названными авторами, всегда опосредуется обращением к конкретной исторической эпохе: для Ницше это греческая классика, для Фрейденберг – греческая же долитературная архаика, для Вико – «поэтическая эпоха богов и героев», для Бахтина и Вебера – раннее Новое время (понимаемое в первом случае культурно-исторически как Ренессанс, а во-втором, историко-экономически, как время возникновения современного промышленного капитализма). Для каждого из этих авторов речь идет об эпохе, обладающей двумя антитетическими свойствами: с одной стороны, она должна быть своего рода «инобытием» современности, с другой – быть трансцендентной, радикально иной по отношению к ней. Парадоксальным образом, именно для того, чтобы обрести понимание смысла собственной эпохи, необходимо совершить «полный исход из настоящего порядка этой жизни»²⁹, причем совершить его на почве истории. Предельным случаем такого исхода является попытка историческими средствами заглянуть за изнанку истории: первые опыты такого рода относятся к рубежу Нового времени³⁰. Ввести фигуру «начала истории» означает проблематизировать границу между природой и историей, этикой и физикой, мысленным экспериментом и исторической реконструкцией, философией и филологией, естественным и позитивным правом, гипотезой и аподиктическим доказательством, естественным и гражданским Провидением: ведь такое начало есть, говоря в общем, исток и условие возможности всякой дифференциации вообще. Именно в роли истории для проблематизации «абсолютного начала» можно видеть ключевое различие между способами мыслить то, что находится по ту сторону «настоящего порядка этой жизни», предложенными в этот период Томасом Гоббсом и Джамбаттистой Вико: попытка интегрировать в «человечную метафизику» историю (филологию) делает Вико родоначальником тех философско-исторических синтезов, о которых мы здесь говорим. Исключение исторического измерения у Гоббса и реабилитация его у Вико обнаруживает фундаментальное различие в теоретическом стиле этих авторов. По словам чикагской исследовательницы Нэнси Стрювер, Гоббс «работает широкими мазками»; он стремится, «элиминировав хаос и противоречивость исторических и правовых практик», «редуцировать значение исторической информации для теоретизирования»³¹. Его перспектива – «макросоциологиче-

²⁷ «Тот, кто не имеет представления о целом, не может распределить и частей» (*Montaigne, Les Essais, II, 1*; рус. пер. приведен по изданию: *Монтень М. Опыты: В 2 т. / Пер. с фр. А. С. Бобовича и др. М.: Голос, 1992. <http://psylib.org.ua/books/monte01/index.htm>, кн. II, гл. 1). – *Примеч. ред.**

²⁸ *Роде Э. Указ. соч. С. 299.*

²⁹ Эту цитату из Н. А. Добролюбова Бахтин приводит несколько раз в своей книге о Рабле: *Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса // Его же. Собрание сочинений. Т. 4 (2). М.: Языки славянских культур, 2010. С. 294–295.*

³⁰ См. статью Ю. В. Ивановой и П. В. Соколова: с. 79–105 наст. изд.

³¹ «В то время как Гоббс отказывается иметь дело с богатством “слишком человеческих” деталей историко-политических практик, Вико открывает в этом богатстве внутренние ресурсы, позволяющие постичь истоки гражданского устройства – хотя бы и в режиме иронии. В то время как Гоббс, как кажется, стремится элиминировать хаос и противоречия исторических и правовых практик человеческого сообщества и тем самым редуцировать удельный вес исторической информации в теоретическом рассуждении, Вико, напротив, придает этимологиям, которые в изобилии встречаются на страницах его сочинений,

ская» (macro-solution of macro-problems); у Вико же, напротив – историческая: именно этот выбранный им способ рассуждения об универсуме человеческих действий раскрывает неозримое поле политических возможностей, примеров институциональных трансформаций, сценариев действия³².

Антитезу собственной эпохе «явленного разума» Вико находит в «поэтической эпохе» богов и героев – периода в истории человечества одновременно глубоко забытого, оттого что едва проницаемого для рационального сознания (Вико использует Варроново слово *adelon*), но вместе с тем – скрыто присутствующего в современности и остро необходимого ей для преодоления «тщеславия ученых» (эпистемологического порока, который заставляет оценивать сознание других эпох с позиций представлений об истине и достоверности, характерных для эпохи «явленного разума») и «тщеславия наций» (убежденности каждого народа в том, что он древнее остальных народов и потому причастен к неким началам древней мудрости в большей степени, чем другие). «Поэтическая» эпоха в истории человечества столь важна для Вико именно потому, что она максимально далеко отстоит от его собственной: настолько далеко, что для проникновения в нее необходимо чрезвычайное усилие, причем такое, в котором может принять участие лишь высшая познавательная способность (*or' appena intender si può, affatto immaginar non si può, come pensassero i Primi Uomini*³³). Дальше от викианской «современности» отстоит только естественное или «звериное» состояние (*ferinitas*) – предельное понятие «Новой науки», полагающее границы рациональному познанию мира наций. Этот своего рода экстазис, кенотическое погружение в «темные и грубые» начала человеческой истории, Вико противопоставляет аисторической декартовой интроспекции: для постижения «первых человеческих идей» философ должен не искать в самом себе «несокрушимый фундамент» достоверности, а «сойти с высот своей облагороженной человеческой природы в дикое и чудовищное» естество Основателей Мира Наций³⁴.

Подобно тому как Вико одновременно «подбирает ключ» к архаической мифологии и разгадывает шифр «вечной идеальной истории», то есть решает метафизическую проблему посредством решения проблемы исторической (в языке Вико – филологической), М. М. Бахтин изучает праздник и карнавал как «первичные и неуничтожимые категории человеческой культуры», «праздничное мироощущение» – как неумирающую сторону, константу человеческого мира, не отвлеченно, *in abstracto*, а в материале конкретной эпохи, рассматривая литературу Ренессанса в свете вечных «народно-праздничных карнавальных форм»³⁵. И это – не случайность, не вынужденная цензурными условиями необходимость использовать исторический метод как своего рода алиби и не попытка «прикрыть ризами филологии отважную наготу

центральное значение для разработанного им диагностического искусства, ибо этимологии для него – это сохранившиеся в памяти языка исторические свидетельства социальных и правовых институтов, это источник политической мудрости, содержащий в себе тактический опыт сохранения идентичности наций» [While Hobbes refuses to engage with the wealth of all-too-human detail of historical political practices, Vico found this wealth of intrinsic interest as revealing the sources of civility, if often only ironically so. Where Hobbes seems to prefer to elide the confusion and contradictions of historico-legal practices of the community, and thus reduce the amount of historical information for theorizing, in contrast the many Vichian invocations of etymology are central to his diagnosis because the traces of social-legal practices in the language archive are the sources of his political wisdom, in giving an account of the tactics of maintaining national identity] (*Struever N. S. Rhetoric, Modality, Modernity. Chicago: The University of Chicago Press, 2009. P. 60*).

³² Girard P. Giambattista Vico. Rationalité et politique. Une lecture de la Scienza nuova. P.: Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2008. P. 327–343.

³³ Vico G. La scienza nuova 1744 / a cura di P. Cristofolini e M. Sanna. R.: Edizioni di Storia e Letteratura, 2013. P. 105.

³⁴ «[P]er rivenire le guise di tal primo pensiero umano nato nel mondo della gentilità, incontrammo l'aspre difficoltà che ci han costo la ricerca di ben venti anni, e <dovemmo> discendere da queste nostre umane ingentilite nature a quelle affatto fiere ed immani, le quali ci è affatto negato d'immaginare e solamente a gran pena ci <è> permesso d'intendere» (*Vico G. Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni in questa terza impressione dal medesimo autore in gran numero di luoghi corretta, schiarita, e notabilmente accresciuta. Napoli: Felice Mosca, 1744. P. 118–119*).

³⁵ Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле... С. 296, 262.

философа» (слова Н. В. Брагинской о Ницше)³⁶. Бахтин эксплицитно противопоставляет свой способ работы методу философской антропологии как аисторическому и чуждому социальности, причем характерно, что он разоблачает и у «философских антропологов» не замечаемый ими исторический предрассудок: сами того не ведая, они строят свою концепцию праздника, ориентируясь на «ущербную праздничность буржуазной эпохи»³⁷. Любая философия «инфицирована» историей: как бы она ни пыталась встать на отвлеченно-теоретическую точку зрения, ей невозможно отделаться от историчности как конститутивного измерения «действительного мира». В эпохе Ренессанса Бахтин видит активную фазу вечного принципа – и видит смысл ее в победе над «духом готического века, с его односторонней серьезностью», от которого ко временам Рабле остались только «ризы, годные для веселых карнавальных переодеваний». Ренессанс – эпоха переворачивания старой культуры, и это проявляется во всем – от политики и экономики (Бахтин упоминает даже Ивана Грозного) до вторжения народно-площадной речи в язык ученых писателей, таких как Рабле³⁸. Именно в этой точке – не научное, а ценностно-идеологическое расхождение между Бахтиным и его первым западным критиком, Фрэнсис Йейтс. Споря (по определению безответно) с Бахтиным о герменевтике текста Рабле, автор рецензии пишет: «Движущие силы Возрождения – религиозные, философские, научные, художественные – обрели свое мощное и концентрированное выражение в романе Рабле <...>. И все это богатство облеклось в формы народной культуры <...> Однако фарсовые темы Рабле не являются народными по содержанию: чтобы оценить их, необходима ученость и изощренный ум»³⁹. Очевидно, что для Йейтс является формой, стилистической условностью именно то, что для Бахтина является содержанием, эпифанией «первичной и неуничтожимой категории праздника» в «лексическом карнавале» «Гаргантюа и Пантагрюэля»⁴⁰. Для Бахтина нет противоречия в том, что Рабле был одновременно и «ученым», и «народным» писателем. Однако каков критерий, позволяющий понять, что в тексте Рабле относится к плану вечности, а что – к плану времени, что является формой, а что – содержанием?

Если мы, с неизбежной для вводного раздела краткостью, обратимся теперь с теми же предпосылками к «семантической палеонтологии» О. М. Фрейденберг, то и здесь мы найдем элементы той же стратегии. Так же как, к примеру, Вико раскрывает в понятийности современной ему науки ее «праисконное», «поэтическое» происхождение, Фрейденберг предпринимает «расколдовывание»⁴¹ базовых категорий современного ей литературоведения, выводя их за исторический горизонт литературы – на границу мифологического и «понятийного» мышления. На этой границе, как и в точке перехода от «ferinitas» к человеческому миру у Вико, рациональное мышление, наша собственная герменевтическая способность подвергается ради-

³⁶ Брагинская Н. В. Верность как измена [Рец. на кн.: Фридрих Ницше. Рождение трагедии / Составление, общая редакция, комментарий и вступительная статья А. А. Россиуса. Художник Андрей Бондаренко. М.: Ad Marginem, 2001. 736 с.] // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. <http://magazines.russ.ru/nlo/2001/50/bragin.html>.

³⁷ «Характерно, что в западной философии последних лет, а именно – в философской антропологии, делаются попытки раскрыть особое праздничное мироощущение (праздничную настроенность) человека, особый праздничный аспект мира и использовать его для преодоления пессимистической концепции экзистенциализма. Однако философская антропология с ее феноменологическим методом, чуждым подлинной историчности и социальности, не может разрешить эту задачу; кроме того, она ориентируется на ущербную праздничность буржуазной эпохи». По Бахтину, в XIX столетии восторжествовала «непраздничная концепция мира», хотя «праздничность в условиях буржуазной культуры только сузилась и исказилась, но не умерла» (Бахтин М. М. Указ. соч. С. 297).

³⁸ «И в областях мысли и слова искали Америку, хотели открыть антиподов, стремились заглянуть на западную половину земного шара, спрашивали, “что под нами?”. Мысль и слово искали новую реальность за видимым горизонтом господствующего мировоззрения» (Там же. С. 291).

³⁹ Yates Fr. A. Op. cit. P. 391.

⁴⁰ Об этой столь важной для замысла бахтинской книги категории Карла Фосслера см.: Попова И. Л. «Лексический карнавал» Франсуа Рабле: книга М. М. Бахтина и франко-немецкие методологические споры 1910–1920-х годов // Новое литературное обозрение. 2006. № 79. <http://magazines.russ.ru/nlo/2006/79/po7.html>.

⁴¹ Мы позволили себе использовать в переносном значении этот термин К. Палонена: Palonen K. Entzauberung der Begriffe. Das Umschreiben der politischen Begriffe bei Quentin Skinner und Reinhart Koselleck. Münster: Lit, 2004.

кальному испытанию, сталкиваясь с «абсолютным Другим». Привычные категории, «автоматизмы» нашего аналитического языка остраиваются: так, сюжет оказывается не выстроенной по причинно-следственному принципу последовательностью действий, организующей наррацию (любую, к которой мы привыкли – от истории до беллетристики), а секвенцией «параллельных метафор»⁴². Сама же наррация в этот допонятийный период – вовсе не форма организации сюжета, а его элемент или даже... вещь (вотивный дар, доля участника хора).

Несовместимость с теоретическими принципами и этосом специальных дисциплин роднит рассмотренные нами «кентаврические науки» с романтическими и постромантическими проектами спекулятивной науки о древности, от Г. Ф. Крейцера до И. Г. Даумера и И. Я. Бахофена. Неслучайно имена Крейцера и его оппонента Кристиана Лобека всплывают в полемике между Вилаговицем и Роде, а Бахофену посвящает восторженный отзыв О. М. Фрейдберг – в нем она находит у Бахофена едва ли не все открытия позднейшего антиковедения (вновь проявление того дара дивинации, о котором мы писали выше!)⁴³. Долгой истории этой интегральной философско-филологической науки о древности, использовавшей все запрещенные «зрелой» филологией приемы, от ложной этимологии до натурфилософских проекций на исторический материал, посвящен самый пространственный раздел нашей книги⁴⁴. Однако и он оставляет за границами рассмотрения позднейшую судьбу этого «кентавра», историю окончательного изгнания его из пределов академии и постепенного идеологического перерождения. Приведем только один пример, одно только место из «Служения огню и Молоху у древних евреев» (1842) Г. Ф. Даумера, в котором сводится в один узел романтическая спекулятивная историософия, открытие «ночной души» эллинства у Ницше и предвестие антисемитского перекодирования вырожденного романтизма в XX в. По Даумеру, одним из воплощений Молоха, бога аммонитян и моавитян, во славу которого, по свидетельству Библии, было принято сжигать заживо («проводить через огонь») детей, в средиземноморской ойкумене оказывается не кто иной, как лучезарный Аполлон, у Винкельманна – символ «ясности и любви к порядку греческого духа»:

Аполлон, вознесенный аффирмативным Гением эллинского человечества до столь прекрасного и великолепного образа, был изначально не чем иным, как негативным какодемоническим Молохом-Иеговой Ханаана и Финикии⁴⁵.

Лучезарный Аполлон как темный Молох, пожиратель детей, и он же – «какодемонический» Бог Ветхого Завета! Мы видим здесь, что у таких авторов, как Даумер, уже закладыва-

⁴² «[Б]уфонии, как и майская обрядность, как свадьба, еда, похороны и т. д., никакой причинно-следственной фабулы не имеют; перед нами известное количество параллельных метафор <...> которые различно интерпретируют основной мотив “жертвоприношения”, смерти для воскресения» (Фрейдберг О. М. Поэтика сюжета и жанра: Период античной литературы. Л.: Худ. лит., 1936. С. 96).

⁴³ «Нет возможности перечислить все то, что Баховен открыл для науки в своей работе 1859 года. Укажу на важнейшие ее места. Так, Баховен открыл круг представлений о матери-земле, имеющих такое первенствующее значение для античных религий; работы Дитериха “Мать-земля” и Альтгейма “Terra Mater” предвосхищены Баховеном. Все то, что есть у Дитериха о Баубо, у Фриза о семантике цирка, у Протта о Матери и дактилях, у Гаррисон о Фемиде, о священных корзинах и ящиках, и данаидах, о Пандоре, это все находится у Баховена. Работы по семантике колеса и круга, радуги, пилея, пеплоса и мантии, о значении mundus’a, о Янусе, о масках, о Мидасе и культе яйца, об окне и мифических ослах, о люстрациях, об именах вещей, о молоке и вине, все эти работы Узенера и Гаррисон, Гирцеля, Гейзо, Дитериха, Эйслера, Дуна, Сонни и многих, многих других должны уступить свой приоритет книге Баховена. Основная мысль Мангардта, исследования Л. Шредера, работы по семантике воды-огня, многое из исследования Ферле и многочисленная последующая литература о смерти, как источнике жизни, восходят к Баховену. Трудно охватить весь круг мыслей этого гениального ученого, всю силу его научного предвидения» (Фрейдберг О. М. К изучению источников Энгельса. Баховен / Н. В. Брагинская (предисл., публикация и примеч.) // Русская антропологическая школа. Труды. 2004. Вып. 1. С. 297–298).

⁴⁴ Резвых П. В. Спекулятивная конструкция и историческое свидетельство в немецкой мифологии конца XVIII – начала XIX в. С. 143–214 наст. изд.

⁴⁵ Daumer G. F. Der Feuer- und Molochsdienst der alter Hebräer als urväterlicher, legaler, orthodoxer Cultus der Nation, historisch-kritisch nachgewiesen. Braunschweig: Druck und Verlag von Fr. Otto, 1842. S. 212.

ются основания для идеологической апроприации интегральной философско-филологической науки о древности в различных оккультных науках – таких, как рунология, Sinnbildforschung, Symbolforschung⁴⁶, – наук, звездный час которых в Третьем рейхе сменится их окончательным забвением, а иногда и прямым запретом после Второй мировой войны.

С наступлением Новейшего времени попытки произвести смысл из факта, из самого, по выражению Э. Р. Курциуса, «тела истории», не окончились. Только теперь речь шла не о синтезе философии и филологии (в соответствии со знаменитым призывом Ницше «сделать философией то, что было филологией»), а об историзации гуманитарной Теории. Одно из направлений поисков здесь – теоретическая историография раннего Нового времени, в том числе и прежде всего – «заново открытой» в середине XX в. культуры барокко⁴⁷. Восходящее к 1950-м гг. сотрудничество истории политической мысли и прагматической философии в таких влиятельных направлениях гуманитарной теории, как «история понятий» Кв. Скиннера и «модальная риторика» (в более ранних версиях – «топология») Нэнси С. Стрювер, было опосредовано именно обращением к историческому материалу раннего Нового времени. Нередко исследовательский инструментарий, выросший из ранненовременных штудий, оказывался затем востребован специалистами по другим историческим периодам: так, Дж. Покок указывает на то, что использование методов «истории политического дискурса» историками Новейшего времени в так называемой «Сассекской школе»⁴⁸ было вторичным по отношению к использованию их историками раннего Нового времени школы Кембриджской⁴⁹. Актуальность интеллектуального наследия раннего Нового времени для современной гуманитарной теории обосновывается изоморфностью ренессансного «поворота к риторике» «прагматическому повороту», свершившемуся в целом ряде направлений европейской философии XX в. (концепция «языковых игр» у позднего Витгенштейна, теория «речевых актов» Дж. Остина, этика А. Макинтайра). Отказ от редукции риторики к поэтике (стилистике или «тропологии») и понимание ее как «герменевтики гражданских событий» в гуманистической диалектике (А. Ницо, П. Рамус, Дж. Вико) созвучны, по Стрювер, не только реактуализации греко-латинской риторической традиции в неориторике Х. Перельмана⁵⁰, но и концепции «навыков действия» и «закрепления убеждений» Ч. Пирса⁵¹ и критическому ограничению «апофантического логоса» у Дж. Остина⁵². Наряду с реабилитацией риторики и «прагматическим поворотом» в философии важной предпосылкой превращения Early Modernity в мощный ресурс гуманитарной теории стал новый подход к истории политической мысли, сместивший акцент с генеалогии актуальных понятий и проблем политической теории («история формальной политической теории») к истории политического дискурса, понимаемого как результат интерференции множества языков интеллектуальной культуры, как действие («речевой акт»), совершаемое в соответствии с правилами определенной «языковой игры» («что делает автор, когда пишет текст»). По выра-

⁴⁶ См. об этом книгу: Mees B. *Th. The Science of the Swastika*. Budapest; N. Y.: CEU Press, 2008.

⁴⁷ См. очень точное наблюдение И. Л. Поповой: «Исследование барокко как стиля и “переходной эпохи” сыграло свою роль в программе глобализации гуманитарных исследований, в стандартизации методик и терминологических систем, в формировании нового представления о европейской литературе, ее истории и периодизации» (Попова И. Л. *Историческая поэтика в теоретическом освещении*. М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 123).

⁴⁸ Collini S., Winch D., Burrow J. *That Noble Science of Politics: A Study in Nineteenth-Century Intellectual History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983; *History, Religion and Culture: British Intellectual History, 1750–1950* / S. Collini, R. Whatmore, B. Young (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

⁴⁹ Покок Дж. Г. А. Квентин Скиннер: история политики и политика истории / Пер. с англ. А. Акмальдиной // Новое литературное обозрение. 2015. № 4 (134). https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/134_nlo_4_2015/article/11567/.

⁵⁰ См.: Warnick B. *Two Systems of Invention: The Topics in the Rhetoric and the New Rhetoric* // *Rereading Aristotle's Rhetoric* / A. G. Gross, A. E. Walzer (eds). Carbondale: Southern Illinois University Press, 2000. P. 107–129.

⁵¹ Struever N. S. *Rhetoric, Modality, Modernity*. Chicago: Chicago University Press, 2009. P. 2, 61–62, 103–106.

⁵² См.: BeDuhn J. D. *The Historical Assessment of Speech Acts: Clarifications of Austin and Skinner for the Study of Religions* // *Method and Theory in the Study of Religion*. 2002. Vol. 14 (1). P. 84–113.

жению Дж. Покока, речь шла о создании «истории политической теории подлинно исторического характера», естественными противниками которой оказывались классическая история идей в духе *unit-ideas*⁵³ А. Лавджоя⁵⁴, формалистическая теория истории в духе «тропологии» Х. Уайта и аналитическая философия истории, сводящая историческое исследование к анализу предложений (А. Данто)⁵⁵. Ключевые понятия «кембриджской школы»: «момент», «контекст», «речевой акт», «языки политической мысли», «история деятельности», «ход» (*move*) – могут быть рассмотрены как символы «прагматического поворота» в историографии, посвященной раннему Новому времени. Другую версию этого поворота, симптоматичным образом не затронувшего или почти не затронувшего историю интеллектуальной культуры других эпох, мы можем видеть у Нэнси Стрювер. Критикуя «метаисторию» Уайта, Н. Стрювер указывает на то, что осуществленное американским исследователем сведение функций риторики к использованию тропов имело следствием редукцию риторики к поэтике. Подобно тому как Петр Рамус в XVI столетии свел риторику к формам фигурального украшения речи (*elocutio*, собственным предметом которой является *ornatus*⁵⁶), Уайт ограничил риторику сферой теории стиля (*literary rhetoric*), который, по Уайту, представляет собой комбинацию формального аргумента, способа построения сюжета и идеологического подтекста⁵⁷. Редукционизм чисто формалистического подхода к историческому материалу имел следствием восприятие истории историографии как своего рода короллария к истории реализма в литературе. Именно в борьбе против радикальной антиисторичности Уайта ресурс «моральных наук» раннего Нового времени и историзация риторического аппарата, предпринятые Стрювер, оказываются совершенно незаменимы⁵⁸. Очевидно, что как история политических дискурсов Скиннера и Покока, так и «топология» Н. Стрювер представляют собой формы археологии гуманитарного знания, усматривающие ресурс обновления гуманитарной теории в обращении к ее историческому началу (раннему Новому времени).

Создание «исторической онтологии»⁵⁹ современности посредством обращения к изоморфным ей эпохам – не единственный способ стереть границу между философией/теорией и историей. С конца XIX столетия один за другим возникают «дискурсы ученой культуры»⁶⁰, сами названия которых в традиционной номенклатуре дисциплин могли бы показаться оксюморонами: историческая топика (Э. Р. Курциус), историческая поэтика (от А. Н. Веселовского до А. В. Михайлова), историческая социология (М. Вебер, Р. Бендикс, Н. Элиас, М. Манн, И. Валлерстайн, Т. Скокпол и др.), историческая догматика (Т. Хонзелл). Несмотря на сходство

⁵³ «Идеи-единицы» (*англ.*) – термин Артура Лавджоя, обозначающий идеи-константы в интеллектуальной истории; пример такой идеи – «золотая цепь бытия»: мир представляет собой иерархически устроенное целое – это представление, как отмечает Лавджой, мы можем проследить от античной Греции до Нового времени. – *Примеч. ред.*

⁵⁴ В связи с этим характерно, что Лавджой был известным критиком прагматизма: *Lovejoy A. O. The Thirteen Pragmatisms // The Journal of Philosophy, Psychology, and Scientific Methods. 1908. Vol. V. P. 29–39.*

⁵⁵ *Данто А. С. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002.*

⁵⁶ *Elocutio* и *ornatus* (*лат.*) – термины классической риторики. *Elocutio* – учение о способе изложения мысли, то есть о подборе слов и о работе над синтаксисом с целью достижения максимальной выразительности речи, третья «часть» риторического учения, которой предшествовали учения об *inventio* – нахождении материала и *dispositio* – о его расположении в речи; после *elocutio* следовали *memoria* – учение о запоминании речи и *pronuntiatio* – о ее произнесении. *Ornatus* – пышность, украшенность речи, одно из четырех основных достоинств выражения (*virtutes elocutionis*), наряду с «уместностью» (*aptum*), «чистотой языка» (*latinitas, puritas*) и «ясностью» (*perspicuitas*). – *Примеч. ред.*

⁵⁷ *Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. С. 18.*

⁵⁸ Об этом см.: *Goetsch J. R. Vico's Axioms: The Geometry of the Human World. New Haven; L.: Yale University Press, 1995. P. 69–87; Mack P. Renaissance Argument: Valla and Agricola in the Tradition of Rhetoric and Dialectic. Leiden: Brill, 1993.*

⁵⁹ В смысле М. Фуко: *Фуко М. Что такое Просвещение? // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1999. № 2. С. 351.*

⁶⁰ *Jaumann H. Die Diskurse der Gelehrtenkultur in der frühen Neuzeit. B.: De Gruyter, 2011.*

названий, смысл прилагательного «исторический» в именах этих кентаврических дисциплин совершенно различен.

Предмет исторической поэтики, которая в нашей книге берется в наиболее зрелом ее изводе, представленном в «Европейской литературе и латинском Средневековье» Эрнста Роберта Курциуса – «морфология континуума» (И. Л. Попова) двадцати шести веков европейской литературы от Гомера до Гёте. Курциус, как и его младший современник Фернан Бродель, значительно увеличивает масштаб исторического рассмотрения: подобно аэрофото съемке, оптика *longue durée*⁶¹ позволяет различить структуру больших формаций – «миров-экономик» в случае Броделя, континуума европейской литературной традиции в случае Курциуса. Время исторической поэтики соотносится со временем событийной истории, как с ним соотносится время геологии или, скажем, эволюционной биологии: в масштабе исторической поэтики двадцать шесть веков от Гомера до Гёте представляют собой одну единицу деления. Если это и историческое время, то скорее можно сравнить его с *longue durée* или вековыми трендами Броделя, исследующего вековые колебания кредитных ставок, изменение рисунка европейских дорог или маршрутов морских путешествий от XIII до XIX в. Бродель благодаря своей «аэрофотосъемке» увидел сквозь смутное зеркало исторической событийности «миры-экономики», Курциус – «константы литературной биологии»⁶².

Проблема исторического аргумента в праве в целом и в правовой догматике в частности воскрешает в новом облике очень древний спор, восходящий еще к полемике адептов *mos gallicus* и *mos italicus*⁶³ в XVI столетии, возобновившийся в дебатах вокруг «исторической школы права» Г. Ф. Пухты и Ф. Савиньи и вновь заявивший о себе в современности, прежде всего в так называемой «неопандектистике». Один из крупнейших специалистов по истории частного права в Новое время, Ф. Виакер, отмечал: «С пробуждением рефлексии об историчности собственного существования в правовой науке начался процесс, не завершённый до сих пор. Это означало, что отношение должного к историческому существу, правовой нормы к социальной действительности впервые стало проблемой юридической науки – ни больше ни меньше»⁶⁴. Для современного этапа этой рефлексии характерна явственная немецкая доминанта: констатируя то обстоятельство, что история права в начале XXI в. в Германии находится в кризисе, выражающемся, в числе прочего, в последовательном сокращении числа историко-правовых дисциплин в учреждениях высшего образования⁶⁵, участники дискуссии о роли истории права в юридической теории и практике неизменно возвращаются к эпохе кодификации права и, в частности, к введению Германского гражданского уложения (BGB)

⁶¹ «Большая длительность», или «время большой длительности» (*фр.*) – термин, который Фернан Бродель использовал для обозначения времени протекания процессов развития общества. Оппозицию *longue durée* у Броделя составляет «короткое время» (*le temps bref*) – время, в которое укладываются события малой длительности, обозримые в перспективе протяженности одной человеческой жизни. – *Примеч. ред.*

⁶² См. статью об исторической поэтике: *Попова И. Л.* Книга Э. Р. Курциуса «Европейская литература и латинское Средневековье» и ее значение для исторической поэтики. С. 275–308 наст. изд.

⁶³ *Mos iuris docendi italicus* и *Mos iuris docendi gallicus* (*лат.*) – «итальянский» и «французский» способы, или методы, изучения римского права. Традиционным для схоластической культуры методом работы с текстами, характерным для *mos italicus* и развивавшимся на протяжении XIII–XV вв., ученые XVI в., такие как Франсуа Дуарен, Андреа Альчиато, Жак Кюжа, Юг Доно и др., противопоставили достижения гуманистов в области филологии и истории, которые они начали применять в интерпретации правовых текстов. См. об «итальянском» и «французском» методах: *Kelly D. R.* *Civil Science in the Renaissance: Jurisprudence Italian Style // The Historical Journal.* 1979. Vol. 22. No. 4. P. 777–794; *Id.* *The Rise of Legal History in the Renaissance // History and Theory.* 1970. Vol. 9. No. 2. P. 174–194; *Id.* *Legal Humanism and the Sense of History // Studies in the Renaissance.* 1966. Vol. 13. P. 184–199; *Id.* *Guillaume Budé and the First Historical School of Law // The American Historical Review.* 1967. Vol. 72. No. 3. P. 807–834. – *Примеч. ред.*

⁶⁴ *Wieacker Fr.* *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit.* 2. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. S. 158.

⁶⁵ *Eckert J.* *Die Krise der Rechtsgeschichte und die Frage nach ihrem Nutzen für die Theorie und die Praxis des Rechts // Der praktische Nutzen der Rechtsgeschichte (Hans Hattenhauer zum 8. September 2001) / J. Eckert (hrsg.). Heidelberg: C. F. Müller, 2003. S. 121.*

как переломному событию, положившему конец безраздельному господству *Corpus juris*⁶⁶, но вместе с тем законсервировавшему целый ряд почерпнутых из римского права категорий и принципов⁶⁷. Генрих Хонзелл приводит длинный перечень категорий и принципов римского права, влачащих странное посмертное существование, *Schattendasein*⁶⁸, в нормах современного права немецкого: будучи оторваны от породившей их социальной действительности, они за счет реликтового излучения авторитета древности оказывают деформирующее воздействие на современное правосознание и правоприменительную практику⁶⁹. Некоторые видные романисты, и в их числе великий ученик Савиньи Бернхард Виндшейд, восприняли этот разрыв с традицией с энтузиазмом, полагая, что он открывает новые перспективы их дисциплине: «Когда прекратится господство *Corpus Juris* в Германии, тогда только ученые – специалисты по римскому праву наполнят собою аудитории, и у ног их станут учиться подрастающие поколения»⁷⁰. И в самом деле, этот «неогуманистический поворот» в истории права дал, с одной стороны, импульс «третьему Ренессансу римского права в XIX столетии»⁷¹; с другой стороны, эмансипация правовой истории от правовой догматики укрепила союз ее с другими областями исторической науки (прежде всего, социальной историей и историей институтов). В полемиках вокруг идеи кодификации права сформировалась и программа примирения исторического и систематического принципа в праве, предлагавшая считать кодекс, в частности *BGB*, высшим этапом пандектистики, в духе известного дезидерата Рудольфа фон Йеринга: с помощью римского права выйти за границы римского права, очистить его от всего специфически римского и представить как своего рода естественное право⁷². С течением времени, однако, торжество правового позитивизма в юридической догматике привело к тому, что «наука о праве стала в значительной степени аисторической наукой»⁷³, утратила «дух историзма»: характерно, что в начале 1980-х несколько общенемецких «дней историков права» (*Rechtshistorikertag*) подряд были посвящены вопросу о месте исторического аргумента в теории и практике действующего права. Потребность в переосмыслении роли исторического аргумента в праве, помимо собственно научных и институциональных соображений, в современных дискуссиях нередко мотивируется задачами создания нового *jus commune* для объединенной Европы: по Хонзеллу, «предпосылкой для создания общеевропейского гражданского уложения могло бы стать возвращение к корням, инвентаризация интегративных общностей частного права», большая часть которых представляет собой «достижения римского права, значение коих не проходит со временем» (частная автономия, собственность, свобода договора, свобода завещания, свобода ассоциации и экономической деятельности и т. д.)⁷⁴. В настоящее время проект «неопандектистики», историзации цивилистики и возвращения римскому праву статуса общеевропей-

⁶⁶ *Corpus juris civilis* – Свод гражданского права (*лат.*), или Свод Юстиниана – корпус документов, регламентирующих гражданские отношения, составленный в эпоху правления императора Юстиниана Великого (529–534 гг.). – *Примеч. ред.*

⁶⁷ Honsell H. Die Rechtsgeschichte und ihre Bedeutung für die Privatrechtsdogmatik // *Privatrechtsdogmatik im 21. Jahrhundert. Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 80. Geburtstag, herausgegeben von seinen Schülerinnen und Schülern*. В.: De Gruyter, 2017. S. 25.

⁶⁸ Теневое существование (*нем.*). – *Примеч. ред.*

⁶⁹ *Ibid.* S. 25.

⁷⁰ Цит. по: Zimmermann R. Heutiges Recht, Römisches Recht und heutiges Römisches Recht: Die Geschichte einer Emanzipation durch «Auseinanderdenken» // *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik* / R. Zimmermann (hrsg.). Heidelberg: C. F. Müller, 1999. S. 31.

⁷¹ *Ibid.* S. 6.

⁷² *Ibid.* S. 33.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ «Voraussetzung für ein Europäisches ZGB wäre ein *back to the roots*, eine Bestandsaufnahme der integrativen Gemeinsamkeiten des *droit privé romain*» (Honsell H. *Op. cit.* S. 13–14).

ского правового койне продолжает оставаться предметом ожесточенных дискуссий, в том числе политического или «параполитического» характера⁷⁵.

«Исторический поворот», в разных областях европейской интеллектуальной культуры совершившийся в разное время, затронул множество дисциплин и научных дискурсов, прежде сознательно дистанцировавшихся от истории и претендовавших на радикально отличное понимание темпоральности, каузальности и достоверности. К числу этих дисциплин принадлежат и крупнейшие социальные науки – социология и экономика. В случае с исторической социологией и (особенно) экономикой конвенций мы имеем дело со своего рода «возвращением вытесненного» – «вторым пришествием» истории в дисциплины, в определенный момент своего существования декларировавшие разрыв с историей (победа неолиберальной экономики над институционализмом, вытеснение истории в социологии вследствие бурного развития прикладных эмпирических исследований, с одной стороны, и доминирования структурно-функционального анализа в теории, с другой).

Если проект исторической поэтики подразумевает историзацию собственной понятийности, оживление «памяти понятий», образующих нормативный базис литературоведения, то «историческая социология» мыслит свои отношения с историей скорее по модели продуктивного обмена: по замечанию одного современного социолога, результатом «исторической революции в социологии» (американской) стало то, что «социологическая теория, методология и исследовательская литература более осознанно включает в себя исторические проблемы и перспективы, чем когда-либо прежде за все время существования дисциплины в этой стране [США. – И. С, П. С.]»⁷⁶. Социология разделяет с историей свой предмет – социальную реальность: нередко это приводит к параллельной *Fragestellung*⁷⁷ в этих дисциплинах. В исторической социологии история мыслится как оператор перехода от необходимости социальной структуры к контингентности социального действия, «диалог между человеческими возможностями и социальным принуждением» (*dialogue between human possibility and social constraint*). Если проникновение исторического аргумента в экономику представляет собой явление своего рода чрезвычайное, то взаимодействие социологии и истории во второй половине XX столетия, получившее название «сциентизации истории», может быть описано как радикальное преобразование исторической науки. Историография этого, пусть и относительно недолгого, взаимодействия обеих дисциплин весьма обильна и тематически разнообразна; в исследовательской литературе проблематизируются такие категории и явления, как темпоральность, событие и природа объяснения в исторической социологии⁷⁸, трансформация исторического аргумента в социальных науках⁷⁹, трансляция в историческую науку основных теоретических явлений в новейшей истории социологии (теория модернизации, «повороты» к агенту, аффективности, социологии вещей, социальным практикам)⁸⁰.

Тем не менее социологические труды, вдохновившие целое поколение историков на создание «научной истории», демонстрировали специфические для дисциплины отношения с историческим временем⁸¹, событийностью и случайностью. Несмотря на масштабность и глу-

⁷⁵ Хороший обзор современного состояния этих полемики см. в работе: Рудоквас А. Д. Неопандектистика и европейское право (вступительное слово к дискуссии) // Древнее право. 2005. № 1 (15). С. 146–155.

⁷⁶ «[S]ociological theory, methodology, and research arguably are more self-consciously informed by historical questions and perspectives than at any time in the life of the discipline in this country» (*Griffin L. J. How is Sociology Informed by History? // Social Forces. 1995. Vol. 73. No. 4. P. 1247*).

⁷⁷ Постановка вопроса (*нем.*). – *Примеч. ред.*

⁷⁸ *Id.* Temporality, Events, and Explanation in Historical Sociology: An Introduction // *Sociological Research and Methods. 1992. Vol. 20. Is. 4. P. 403–427*.

⁷⁹ *Wittrock B. History and Sociology: Transmutations of Historical Reasoning in the Social Sciences // Frontiers of Sociology. The Annals of the International Institute of Sociology. Vol. 11 / P. Hedström, B. Wittrock (eds). Leiden: Brill, 2009. P. 77–112*.

⁸⁰ *Joyce P. What is the Social in Social History? // Past and Present. 2010. Vol. 206. No. 1. P. 213–248*.

⁸¹ *Elias N. Über die Zeit. Fr./M.: Suhrkamp, 1984*.

бину панорам прошлого, в этих работах материал истории служил для подтверждения априорной теории, создания типологии или сравнительного анализа во времени; исторический аргумент действовал избирательно, обслуживая объяснительные схемы прошлого. Как полагал Чарльз Тилли, новая задача исторической социологии состояла в том, чтобы предложить теории исторической контингентности, «проложив узкоколейку между случайностью и телеологией»⁸².

Констатация аисторичности социологов, упреки в нечувствительности к событийности и контингентности вызвали к жизни исследовательское направление, в основе которого лежал решительный пересмотр отношения к фактуре и структурам прошлого, ибо «мир историчен в самых разнообразных смыслах: он изменчив, непредсказуем и специфичен»⁸³. Именно к пересмотру содержания и способов исторической аргументации с 1990-х гг. призывали представители так называемой «третьей волны» в исторической социологии.

Как мы показываем в нашей книге, исследования исторических социологов «третьей волны» сфокусированы на последовательностях (событий), вероятности и непредсказуемости, поворотных точках, «исторических ловушках», потому что их интересует именно вопрос о том, какими последствиями действия, свершения и итоги одного периода оборачиваются на следующем этапе. Предложенные объяснительные модели существенно повышают статус исторических акторов и отдельных событий и, соответственно, концентрируются на непредвиденных долговременных последствиях человеческих действий в разворачивании исторических траекторий. «Результатом исследований, столь радикально переключивших внимание на отслеживание множественных последовательных действий во времени, становится не создание типологий и сравнительных моделей, а выковывание индивидуальных для каждой исторической тенденции цепей событий и чуть ли не пошаговое воспроизведение достаточно сложно устроенных причинно-следственных связей»⁸⁴.

Историзацию как собственного поля исследований, так и самого аналитического инструментария дисциплины можно проследить в новейшей истории одной из наиболее авторитетных и вместе с тем формализованных наук социогуманитарного цикла – экономики. В то же время балансирующая на грани гетеродоксии и реальной альтернативы господствующей математизированной *economics*, экономика конвенций (А. Орлеан, Р. Сале, Л. Тевено, О. Фавро, Ф. Эймар-Дюверне) заявила о себе слишком недавно («манифест» конвенционалистов был опубликован в журнале *Problèmes économiques* в 2004 г.⁸⁵), чтобы стать предметом историографических изысканий⁸⁶; вследствие этого представленный в нашей книге анализ исторического аргумента в дискурсе конвенционалистов может рассматриваться как выход в совершенно новую и неосвоенную исследовательскую область.

Совмещение в нашей книге двух исследовательских перспектив – анализа того, как исторический материал трансформируется в теорию, а элементы интеллектуальной культуры прошлого неожиданным образом воскресают в актуальной гуманитарной философии и теории

⁸² Цит. по: *Clemens E. S. Toward a Historicized Sociology: Theorizing Events, Processes, and Emergence // Annual Review of Sociology. 2007. Vol. 33. P. 528.*

⁸³ *Sewell Jr. W. H. The Logics of History: Social Theory and Social Transformation. Chicago; L.: University of Chicago Press, 2005. P. 12.*

⁸⁴ См. статью об исторической социологии: *Савельева И. М. Попытка историзации исторической социологии. С. 336–364* наст. изд.

⁸⁵ *Thévenot L., Eymard-Duvernay F., Favereau O., Orléan A., Salais R. Valeurs, coordination et rationalité. L'économie des conventions ou le temps de la réunification dans les sciences sociales // Problèmes économiques. 2004. No. 2838. P. 1–8* (рус. пер. см.: *Тевено Л.* (в соавторстве с *Ф. Эймар-Дюверне, А. Орлеаном, Р. Салэ и О. Фавро*). Ценности, координация и рациональность: экономика соглашений или эпоха сближения экономических, социальных и политических наук // Институциональная экономика: учебник / А. Н. Олейник А. (ред.) М.: ИНФРА-М, 2005. С. 76–112).

⁸⁶ Впрочем, существует немало исследований, посвященных феномену «забвения» истории экономической наукой: *Hodgson G. M. How Economics Forgot History: the Problem of Historical Specificity in Social Science (Economics as Social Theory). L.; N. Y.: Routledge, 2001; Yonay Y. P. The Struggle Over the Soul of Economics. Princeton: Princeton University Press, 1998.*

(«новая риторика» барокко – «новая риторика» Стрювер), и исследования способов присвоения исторического аргумента в декларативно аисторических дисциплинах – позволяет, как представляется, преодолеть привычную оппозицию между историей и систематикой и открыть область продуктивного взаимодействия между теорией и историей, в которой первая не отрывается от породившего ее социально-исторического бытия, а вторая не редуцируется к голому факту или теоретически непродуктивному объекту.

НАСЛЕДИЕ ИСТОРИЗМА⁸⁷

А. М. Руткевич

В «Былом и думах» приводятся слова московского естествоиспытателя (помянутого в «Горе от ума» – «он химик, он ботаник»), познакомившегося с первыми философскими сочинениями своего кузена Герцена и заявившего, что они писаны «птичьим языком». Примерно так воспринимали и воспринимают занятые эмпирическими исследованиями ученые не только гегельянские диалектические премудрости. У них для этого есть основания, причем не только при чтении трактатов, малопонятных и большинству философов. Желая приблизиться к научному цеху авторы книг, статей и диссертаций по философии науки чаще всего никогда в своей жизни не занимались эмпирическими исследованиями, но смело пишут нечто о «методологии социальных и гуманитарных наук». М. Вебер заметил, что для ученых «методология всегда является лишь осознанием *средств, оправдавших* себя на практике», а для плодотворной работы они являются предпосылкой не в большей степени, чем знание анатомии – условием нормальной ходьбы. «Более того, так же, как человеку, пытающемуся контролировать свою походку на основе анатомических знаний, грозит опасность споткнуться, подобная угроза встает и перед специалистом, пытающимся определить цель своего исследования, руководствуясь методологическими соображениями»⁸⁸. Науки возникали и развивались независимо от того, что писали и пишут гносеологи и методологи. Занятые решением своих проблем, ученые с подозрением относятся к тем сочинениям, в которых утверждается нечто о какой-нибудь «постнеклассической науке» или «социальной эпистемологии» – какое все это отношение имеет к проблемам астрофизика, биохимика или генетика?

Еще в большей степени, чем к физике или биологии, это относится к истории. Ни выведение эмпирической истории из какой-нибудь предсуществующей идеи, ни онтологическое укоренение ее в «предпонимании» и «историчности» не затрагивают «ремесла историка». Нам памятна та социологизация истории, которая принуждала во всем следовать учению о смене формаций («пятичленка») и классовой борьбе как движущей силе истории. Можно вспомнить ироничные суждения Л. П. Карсавина, замечавшего, что «чистые» теоретики вообще отличаются категоричностью и полагают, что история вовсе не должна считаться наукою, если не определила и не усовершенствовала свой метод. Теоретик выдумывает такую новую науку, не заботясь о том, что в нее не желает входить реально существующая историография. «Однако выдуманная им новая наука так и останется теоретическим пожеланием, присоединяясь к другому мертворожденному младенцу – социологии, которая, недолгое время позабавив своих ученых родителей, превратилась в игрушку для дилетантов и любителей, без достаточной подготовки, поговорить о “методах”. Историки же теоретика и слушать не станут, а будут продолжать свое дело»⁸⁹. Примером, свидетельствующим о глухоте сообщества историков к модным философским доктринам, может послужить то, что на деятельность этого цеха не оказала ни малейшего влияния длившаяся три десятилетия активность сторонников «лингвистического поворота», любителей писать слова «текст» и «тело» с заглавной буквы. Моды уходят, а всякий занятый прошлым ученый повторяет давно сказанное: «И это тоже пройдет». Философские доктрины тоже принадлежат истории.

⁸⁷ Текст настоящей статьи был прежде опубликован в: Руткевич А. М. Наследие историзма // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2020. Т. 4. № 3. С. 36–70.

⁸⁸ Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 418.

⁸⁹ Карсавин Л. П. Философия истории. СПб.: Комплект, 1993. С. 116.

Правда, ходу времени принадлежат и труды историков, причем взгляд в прошлое обнаруживает связь этих сочинений с популярными в каждую эпоху философскими (или богословскими) учениями⁹⁰. То, что иные учения были близки здравому смыслу историков – взять хотя бы позитивизм второй половины XIX в., – не отменяет их воздействия на характер не только обобщений, но и самих исследований. Задумавшись, иные историки обнаруживали, что вынуждены обращаться к философским категориям (а заодно осознавали и свое сходство с героем Мольера, узнавшим, что он «говорит прозой»). Научной историография сделалась именно в то время, когда под наукой подразумевалось установление фактов и причинных связей между ними. Самая «бедная» по своему содержанию метафизика, восходящая к номинализму 600-летней давности, оставалась метафизикой – она давала отрицательный ответ на вопросы об умозрении и о выведении должного из сущего, но сами вопросы сохранялись в неприкосновенности. Пересмотр практики, предмета и метода исторических исследований был связан с выходом за пределы этой метафизической нищеты.

Historismus

Хорошо известен исток множества «рассуждений о методе», уже почти 400-летнем поиске скорейшего и вернейшего достижения научной истины – это труды Бэкона и Декарта, с которых начинается философия Нового времени. Схоластика остается в прошлом, а вместе с нею и аристотелизм. Из науки и опирающейся на науку философии изгоняется телеология: «В самой природе все совершается механически и она не преследует никаких целей; что же касается намерений Творца при создании мира, то было бы смешной самонадеянностью желать в них проникнуть»⁹¹. У такого переворота было множество составляющих, в том числе и недоверие к тем умозрениям, которые недостоверны, плодят пустые споры, из которых затем рождаются и конфликты, перерастающие из богословских прений в мятежи и войны. Можно сравнить первые страницы труда Гоббса «О гражданине» с опережающими их на полтора века записями Леонардо да Винчи: оба предлагают путь соединения опытных наук с математикой, тогда как вымыслы и сумбур являются долей «софистических наук – наук, которые учат лишь вечному крику»⁹². Образцовой наукой на протяжении трех столетий была механика, а в последние десятилетия XIX в. – применительно к возникающим социальным наукам – к ней присоединяются эволюционная биология (в версии как Дарвина, так и Спенсера) и политическая экономия. Если воспользоваться выражением М. Фуко, такова «дискурсивная формация» в то время, когда история превращается в науку. Это легко увидеть и в случае либеральной *Whig history*⁹³, и в случае исторического материализма II Интернационала.

Научной история сделалась независимо от философских дебатов – этому поспособствовало развитие ряда вспомогательных дисциплин, которые сегодня объединяются «под шапкой» источниковедения. Внешняя и внутренняя критика источников начиналась с дипломатики (бенедиктинцы второй половины XVII в.), но затем распространилась на более широкий

⁹⁰ Да и политическими доктринами, причем не только в тех случаях, когда речь идет о сравнительно недавней истории, вроде нашей Гражданской войны. Как заметил Э. Карр, история античной Греции Гроута говорит нам сегодня ничуть не меньше о воззрениях английских радикалов середины XIX в., а история Рима Моммзена – о политических взглядах немецких либералов, нежели о самой Античности. См.: Carr E. H. What is history? Harmondsworth: Penguin, 1964. P. 36–37.

⁹¹ Лопатин Л. М. Декарт как основатель нового философского и научного мирозерцания // *Его же*. Философские характеристики и речи. М.: Харвест; АСТ, 2000. С. 26.

⁹² Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб.: Азбука-классика, 1998. С. 128.

⁹³ Вигская историография – термин, введенный Гербертом Баттерфилдом в 1931 г. и обозначающий направление в историографии, проецировавшее на исторический материал либеральное политическое мировоззрение и стремившееся видеть в политической истории, а затем и в истории науки воплощение прогрессистской схемы, в которой радикальные изменения имеют положительное значение и неминуемо ведут к торжеству разума и совершенствованию общества и человека. – *Примеч. ред.*

круг документов, дабы различать, как писал Ле Нэн де Тильмон, «что могло быть написано в какое-то время, а что от него весьма далеко»⁹⁴, поскольку более поздние наслоения и трактовки скрывают истину. Процедуры этих монахов и последующих историков-эрудитов были систематизированы в XIX в., например, во французской «методической школе», вершиной усилий которой стало знаменитое «Введение в исторические исследования» Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса⁹⁵. Четко определив процедуры отбора источников, их критики, дальнейшей реконструкции, далее историки считали их установленными фактами, индуктивно накопленными и объединяемыми в единый процесс, подобно тому как это обстоит в естественных науках.

Начальный пункт рассуждений тех мыслителей, которых мы относим к основоположникам историзма, всякий раз обнаруживается в обособлении естественно-научного и исторического знания, которое не вмещается в схемы *объяснения*, подводящего конкретную реальность под тот или иной закон. Процедура объяснения опытно фиксируемого единичного события происходит через включение его в формулу уже известного закона; мы понимаем конкретное через редукцию его индивидуальных свойств, поскольку интересует нас это конкретное лишь как частная форма проявления данного закона. Эта процедура дает нам возможность предвидения будущего, прогноза тех следствий, которые вновь будут проистекать из тех же самых причин. Наука в этом смысле практична: *savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir*⁹⁶ – эта формула О. Конта превосходно выражает общий дух науки XIX столетия. Такая редукция конкретного всегда лишь отчасти передает его особенности, поскольку вырывает его из контекста, не передает его собственного содержания, а нередко и подменяет это конкретное той схемой, которая предназначена для технического использования, манипуляции, «овладения» природными процессами ради внешних для них целей.

Термин «историзм» получает широкое распространение в XIX в. для обозначения двух связанных друг с другом явлений: возникшего учения (школы) в историографии и того, что можно назвать историческим сознанием профессиональных историков. Как писал Дж. Тош, «только в первой половине XIX в. все элементы исторического сознания были собраны воедино и воплощены в научной практике, которая стала общепринятым “правильным” методом изучения прошлого. Это было заслугой интеллектуального течения под названием *историзм* (от немецкого *Historismus*), возникшего в Германии и вскоре распространившегося по всему западному миру»⁹⁷. Автор другого популярного в англоязычном мире введения в историческую науку, Э. Карр, прямо называет способствовавшее переходу от наивного позитивизма с его «фетишизмом фактов» к современной историографии учение «философией истории»⁹⁸. Это в целом верно, хотя наряду с философами (В. Дильтей, В. Виндельбанд, Б. Кроче, Х. Ортега-и-Гассет, Р. Дж. Коллингвуд) в этом переходе участвовали видные историки (Л. фон Ранке, Й. Дройзен, Э. Трёльч, Ф. Мейнеке и др.). Можно сказать, что осмысление отличия историографии от естествознания одновременно начали Дильтей и Дройзен, хотя у них было немало предшественников, начиная с Дж. Вико и И. Г. Гердера. Однако непосредственными источниками историзма являются немецкий романтизм и философия истории Гегеля. Их идеи вошли в то единство философских категорий и исторических построений, которое немцы назвали *Historik*, а англичане перевели как *metahistory*.

Уже ряд мыслителей эпохи Просвещения видели в истории процесс, устремленный к росту разума и свободы – в философии истории Канта и Фихте эти идеи получили «клас-

⁹⁴ Bourdè G., Martin H. Les écoles historiques. P.: Seuil, 1983. P. 91.

⁹⁵ Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М.: Изд-во ГПИБ России, 2004.

⁹⁶ Знать, чтобы предвидеть, и предвидеть, чтобы мочь (*фр.*) – *Примеч. ред.*

⁹⁷ Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М.: Весь мир, 2000. С. 16.

⁹⁸ Carr E. H. Op. cit. P. 20–21.

сический» вид, а вершиной этого умозрительного рассмотрения истории была философия Гегеля. Романтизм нередко считают движением «Контрпросвещения» (И. Берлин), и для этого имеются некоторые основания. Не вдаваясь в детали, можно отметить, что главное различие между гегелевской философией истории и романтизмом лежит в разном понимании отношения возможного и действительного. Для Гегеля все прежние возможности осуществились в действительном, предшествующие ступени «сняты» в осуществившемся и к ним нет возврата – «Феноменология духа» есть воспоминание о пройденных этапах развития. Для романтиков творческий хаос возможностей сохраняется, прошлое продолжает жить и способно неожиданно воскреснуть. Они ищут поправки к настоящему, которое не принимается на веру. «Нужно установить, все ли лучшие силы былого развития в него вошли, а если не вошли, то как их туда вернуть. Позднейшее не всегда есть полная победа над силами минувшего, иное в минувшем тоже стоит пощения и охраны»⁹⁹. Ироничный взгляд на прогресс у романтиков связан и с тем, что чаще всего о движении «все выше и выше» говорили «ставшие всем» дельцы, а вершиной непрестанной болтовни о продвижении к «свету» сделались парламентские речи и газетные статьи. С иронией смотрели романтики и на пантеистическую тотальность истории, пронизанную разумом и движущуюся к установленной этим разумом цели. Если Бог и присутствует в истории, то он не делился сведениями о способе присутствия с впадшими в гордыню немецкими профессорами – эта ирония ощутима и в позднейших «сведениях счетов» с гегелевской философией истории у С. Кьеркегора¹⁰⁰.

Дело не в ностальгии романтиков по Средневековью, хотя они поспособствовали началу серьезного пересмотра просветительского пренебрежительного взгляда на «темные века». Каждая эпоха и всякое племя, сословие, деревня, гильдия уникальны, как и наше собственное общество. Г. Зиммель и Э. Трёльч употребляли удачный термин для видения романтиками прошлого в его особенности – «индивидуальная тотальность». Каждая такая целостность – корреляция людей и групп, мыслей и верований, сил и обстоятельств – неповторима и значима сама по себе. Она не была ступенькой на пути к настоящему, не служила идола «прогресса» и должна постигаться в своем своеобразии, отличии от нам знакомого и привычного. Обращаясь к роли романтизма в становлении исторической науки, Дильтей отмечал стремление к «углублению во все самое чуждое», идею внутренней формы, композиции как «нового вспомогательного средства исторической критики» и разработку герменевтики¹⁰¹.

Романтический взгляд на прошлое превосходно выразил П. Мериме в своем предисловии к «Хронике времен Карла IX». Во-первых, он указал на то, что из источников о прошлом ему предпочтительны мемуары, улавливающие характеры действующих лиц, людей давних времен, тех индивидов, которые некогда жили, мыслили и действовали. Во-вторых, ему бросилась в глаза несхожесть представлений и нравов людей прошлого с нашим настоящим. Оценивать их действия (в случае романа Мериме – Варфоломеевской ночи) нужно сообразно убеждениям и ценностям той эпохи, не впадая в морализаторство («вот почему я убежден, что к поступкам людей, живших в XVI веке, нельзя подходить с меркой XIX»). Суждение об одном и том же деянии следует выносить в зависимости от того, в какой стране, в какой период времени оно совершалось. Если прежняя историография была преисполнена благих стремлений дать урок добра и зла, предлагая примеры для настоящего, то теперь ее задача и скромнее, и намного сложнее –

⁹⁹ Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С. 28.

¹⁰⁰ Сделавшийся имманентным принципом человеческой истории, Бог в такой картине занимает место «солидного чиновника, восседающего на небесах, но ничего не способного предпринять, – так что никто не обращает на него никакого внимания, – раз уж предполагается, что он способен воздействовать на индивида только сквозь плотную толщу опосредующих причин» (Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2005. С. 582). Иначе говоря, отвергается тот Гегель, которого так любят делать своим предшественником многочисленные марксисты.

¹⁰¹ Dilthey W. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften. Fr./M.: Suhrkamp, 1970. S. 110–111.

она видит в людях прошлого черты, отличающие их от нас самих. Вряд ли Мериме читал труды своего современника, обстоятельного немца Леопольда фон Ранке, но он уловил дух происходивших в то время перемен в историческом знании. Разумеется, читать авторов древности полезно и для того, чтобы брать пример с героев прошлого, но взгляд историко-филологических штудий XIX столетия сместился от поучений к постижению *иного*, непохожего на наши убеждения и предрассудки. Если многие века историки раз за разом повторяли мысль Фукидида о том, что судьбы людей и народов повторяются в силу единства человеческой природы, то историческое сознание современности унаследовало от романтиков представление о неповторимости индивидуальных событий¹⁰².

У живших ранее имелись свои, не менее и не более узкие, чем у нас, представления о мире. Как заметил в предисловии к антологии испанских писателей П. Менендес Пидаль, понять нужно не то, что делает идеи общими для всех времен, но то, что принадлежало именно этой эпохе, стране, личности; кстати, если мы так уж хотим, чтобы история была *magistra vitae*¹⁰³, то мы лучше начнем различать преходящее и вечное, благонамеренное и дурное в настоящем, научившись понимать границу между ними в эпохи, которые уже канули в Лету¹⁰⁴. В споре с теми историками, которые подчеркивали неизменность человеческой природы, а тем самым и неизменность основных мотивов хозяйственной деятельности, В. Зомбарт, утверждавший различия «духа» хозяйствующих субъектов, отвечал: «И несомненно, заманчивая задача – понимать и изображать то, что остается неизменным во всей истории человечества. Только, пожалуй, это не задача историка. Ибо писать историю – значит описывать постоянное разнообразие»¹⁰⁵. Первым признаком историзма становится утверждение *инаковости* прошлого. Основанием для любого исторического повествования является не только память об ушедшем, усилие воспоминания, но и понимание того, что нечто значимое навсегда ушло и уже не вернется.

Вторым его признаком было то, что история выступала как важнейшая из *Geisteswissenschaften*¹⁰⁶, причем к «наукам о духе» были отнесены не только история литературы, религии или философии, но также экономика и право («исторические школы» права и национальной экономики). Хотя выражения *Zeitgeist* и *Volksggeist*¹⁰⁷ восходят к Гегелю, в трудах представителей *Historismus* эти «духи» лишились связи с самопостижением абсолютного духа – пантеизм не является более опорой истории. Десакрализация новозаветного «духа» происходила и в «либеральной» протестантской теологии. Как характеризовал это движение впоследствии Р. Бультман, в духе видели «силу морального суждения и поведения, а атрибут “духовный” понимался как моральная чистота». Историзм увязывали с философским идеализмом, тогда как в возникшей к концу XIX в. так называемой «школе истории религии» трактовка

¹⁰² Можно сказать, что по своим устремлениям Фукидид был скорее социологом и политологом, нежели историком в современном смысле. Как заметил В. Йегер, главное стремление Фукидида – «превзойти увлеченность чужеродным и иным в однократном событии и постичь лежащий в его основе всеобщий и постоянный закон»: *Йегер В.* Пайдейя. Воспитание античного грека: В 2 т. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2001. Т. 1. С. 446.

¹⁰³ Наставница жизни (*лат.*) – определение, данное истории Цицероном в диалоге «Об ораторе» (*Cic. De orat.* II, 9, 36). – *Примеч. ред.*

¹⁰⁴ *Menendez Pidal R.* Antologia de prosistas españoles. Madrid: Espasa-Calpe, 1978. P. 11.

¹⁰⁵ *Зомбарт В.* Буржуа // *Его же.* Собр. соч.: В 3 т. СПб.: Владимир Даль, 2005. Т. 1. С. 31.

¹⁰⁶ Науки о духе (*нем.*, в отличие от *Naturwissenschaften* – наук о природе) – термин *Geisteswissenschaften* переводится также как «науки о культуре», «исторические науки». Это понятие в немецком языке впервые было употреблено для передачи смысла термина *moral sciences* при переводе «Системы логики» Джона Стюарта Милля (*Mill J. S. A System of Logic, Ratiocinative and Inductive <...>*. L.: J. W. Parker, West Strand, 1843), но впоследствии интенсивнее разрабатывалось именно в немецкоязычной философской литературе. С середины XIX в. так обозначаются дисциплины, которые занимаются изучением всего, что относится к историческому миру, подлежащему преобразованиям со стороны человека. Поэтому к предметам «наук о духе» справедливо могут быть отнесены не только история, религия, искусство, язык, литература, но и экономика, право, душевная жизнь и социальное поведение человека, политическая жизнь и учения о ней. – *Примеч. ред.*

¹⁰⁷ Дух времени, дух народа (*нем.*) – *Примеч. ред.*

«духа» становится прежде всего психологической¹⁰⁸. Будь то имеющая дело с текстами филологическая герменевтика или понимающая психология («дивинация» Шлейермахера) – и та и другая имеют дело с «духом». Привилегированной областью исследований той эпохи были труды по истории искусства, религии и философии.

Уже романтики дали образцы трудов по истории литературы (скажем, знаменитый курс А. Шлегеля по истории драматического искусства); на протяжении XIX в. в Германии были написаны превосходные исследования по истории человеческой мысли. Сложнее было последовательно держаться «духа» в случае экономики и социологии, возникавшей в те годы «на стыке» исторической школы *Nationaloeconomie* и марксизма¹⁰⁹. Последовательно «понимающей социологии» держался только Зомбарт, тогда как у М. Вебера обнаруживаются колебания между номотетической и идиографической позициями. Для нас важно то, что труды относительно «духа капитализма» оказались важной точкой перехода к иной историографии – учение о «ментальностях» Л. Февра возникло под прямым влиянием трудов Зомбарта по истории капитализма.

Если историческое бытие есть «поток жизни», некогда бывших мыслей и переживаний (*Erlebnis* Дильтея), то и познание этого потока должно быть адекватным – объяснению естественных наук противопоставляются описание и понимание. Такова третья характерная черта историзма – дуализм, заданный либо самим предметом исследований (живой дух и мертвая природа), либо исключительно в силу применяемого ученым метода (В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Стоит иметь в виду, что возникал историзм в непрестанной полемике с натурализмом и позитивизмом. Как писал свидетель этой борьбы Э. Кассирер, «между натурализмом и историзмом не только не могло быть никакого сотрудничества или примирения, но даже взаимного понимания... В ходе этой борьбы в большей степени, чем о проблеме познания и учения о методе, речь идет о противостоянии “мировоззрений”, в котором едва ли действуют чистые научные аргументы»¹¹⁰. Поэтому учение о методе познания в «науках о духе» было явно связано с той аксиомой, что «дух веет, где хочет» и постижим он именно как дух для другого мыслящего и чувствующего существа. Этот метод познания получал разные названия («идиографический», «индивидуализирующий»), науки разделялись по предмету (Дильтея) или по методу (Риккерт), но суть от этого не менялась – основой всей историографии оказывалась биография.

Правда, уже сам Дильтея, сделавший описательную психологию и герменевтику методами историографии *par excellence*, под конец жизни все чаще возвращался к гегелевскому объективному духу: вселенная многообразных связей между индивидами и группами, конечно, принадлежит жизни в самом широком смысле слова, ибо «историческая жизнь есть составная часть жизни как таковой»¹¹¹, но те целостности, с которыми имеет дело историк, образуют структуры, и только из них мы постигаем индивидуальную жизнь, причем сами эти структуры никак не сводятся к душевной жизни индивидов. Объективации жизни, то есть экспрессии и плоды деятельности, обладают собственной реальностью, которая своими структурными связями задает рамки индивидуальных переживаний. Разумеется, объективный дух у Дильтея отличен от гегелевского¹¹², но попытка обоснования исторической науки посредством понимающей психологии вступает в противоречие со стремлением перейти от эмпатии к истории

¹⁰⁸ *Bultmann R.* Jesus Christus und die Mythologie. Hamburg: Furcht Vlg, 1964. S. 52–53.

¹⁰⁹ Хорошо известны тесные связи Зомбарта с предвоенной социал-демократией, Теннис был социалистом и сделался членом СДПГ, да и М. Вебера нелепо изображать в качестве некоего «анти-Маркса», даже если не подводить его к марксизму на манер А. И. Неусыхина.

¹¹⁰ *Кассирер Э.* Логика наук о культуре // *Его же.* Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарики, 1998. С. 43.

¹¹¹ *Dilthey W.* Op. cit. S. 323.

¹¹² *Ibid.* S. 180–185.

культур, государств, наций и религий. Прямого пути «вчувствования» к людям прошлого не существует, «вчувствование» далеко не всегда помогает нам даже в понимании современников.

По существу, наследниками Дильтея в сообществе профессиональных историков остаются авторы биографий мыслителей и художников. Еще меньшим оказался для сообщества историков «вес» предложенного неокантианцами баденской школы метода «отнесения к ценности»: быстро обнаружилась искусственность противопоставления наук о природе и наук о культуре, в особенности когда речь идет о науках номотетических – экономике, социологии, демографии – и идиографических – истории, этнографии, филологии. К тому же факты «нагружены ценностями» и в случае естествознания, поскольку факт есть нечто, верить во что – рационально: «Не иметь ценностей значило бы также не иметь фактов»¹¹³. Науки о природе не лишены ценностного измерения, причем в случае некоторых дисциплин – экологии, климатологии – оно оказывается сегодня преобладающим.

Критики такого методологического дуализма не без оснований писали о том, что он является наследием теологического взгляда на особое положение человека в мироздании, какое пытались сохранить, отвергая «натурализм» в том, что затрагивает «дух» и «культуру»¹¹⁴. Однако это не отменяет того, что *Historismus* оказал огромное воздействие на несколько поколений историков, да и сегодня термин «историзм» не случайно обозначает некий общий принцип, отличающий историческое сознание.

Историческое мышление

Историческое сознание имеется у любого взрослого человека, более того, без памяти о своем прошлом человек лишен самого себя, своей идентичности или «Я». Любое определение сознания и самосознания предполагает память – и наоборот, о памяти мы осмысленно говорим только с учетом сознания. По существу, мы тождественны нашим воспоминаниям о прожитой жизни – только они нам безусловно принадлежат. Это воспоминания о том, чего уже нет, а образы памяти смешиваются с тем, что прибавило воображение: «мы сотканы из ткани наших снов». Поэт продолжал эту мысль так: «and our little life is rounded with a sleep»¹¹⁵ – наши собственные воспоминания пересекаются и сливаются с окружающими их фантазиями других. В этом потоке воспоминаний происходили перемены – мы менялись вместе с окружающими обстоятельствами. Так как мы были и остаемся «общественными животными», то одновременно с нами изменялись другие люди, передававшие нам память о предшествующих поколениях. Не вдаваясь в написанное по поводу сознания и памяти в сотнях трудов философов, психологов, нейрофизиологов и представителей еще ряда наук, мы можем сказать, что историческое сознание прирождено человеку. Можно назвать его вслед за рядом философов *историчностью*, проистекающей из временности и конечности. Различия между индивидами и группами в степени развития этого сознания определяются множеством социальных условий.

Понятно, что у живущих в природных циклах обитателей племен, а затем и деревень, это сознание было чаще всего неразвитым. Веками существовали великие цивилизации, в которых историческое измерение сводилось к мифам о первоначальном времени. Мы можем наблюдать сегодня, как высокотехнологичная цивилизация способствует атрофии исторического сознания, словно она выполняет программу из гимна: «du passé faisons table rase»¹¹⁶. Причем делает это с завораживающей быстротой и эффективностью. «В уверенном движении марша, кото-

¹¹³ Патнэм Х. Разум, истины и история. М.: Праксис, 2002. С. 262.

¹¹⁴ Albert H. Kritische Vernunft und menschliche Praxis. Stuttgart: Reclam, 1977. S. 128.

¹¹⁵ Цитата из пьесы У. Шекспира «Буря» (The Tempest, IV, 1). – Примеч. ред.

¹¹⁶ «Из прошлого мы сделаем чистую доску» (*фр.*) – цитата из гимна «Интернационал» (L'International) Эжена Потье. – Примеч. ред.

рое ради некоего неведомого будущего выхолащивает настоящее и обесценивает прошедшее, кроется нечто фантастическое»¹¹⁷. Речь совсем не обязательно идет о малограмотных и обездоленных в рамках такой цивилизации.

Более того, если посмотреть на немалую часть книг по политической и военной истории на прилавках книжных магазинов, то окажется, что они написаны людьми не просто искажающими прошлое в силу идеологической зашоренности, но и не умеющими мыслить. К этим «письмам темных людей» на темы истории относится большая часть публикаций, нацеленных на пропагандистский эффект и делящих мир на «своих» и «чужих» по заранее предписанным признакам. Это естественно для мира политики, да и не ново; скажем, любому испансту известно, что «черная легенда» по поводу Испании на протяжении трех столетий разрабатывалась в протестантских странах, прежде всего англосаксонских, с навязчивыми образами «охоты за ведьмами» и «судов инквизиции», хотя в протестантских землях Германии ведьм сожгли в сотню раз больше, а в Англии число казненных католиков превосходило количество протестантов и марранов, прошедших через суды инквизиции в Испании. Такое сочинительство «легенд» существует и ныне. Прошлое нужно лишь для подкрепления политических целей. «Сегодня в большей степени, чем когда бы то ни было, – писал М. Оукшот, – прошлое представляет собой поле, на которое мы выпускаем наши моральные и политические мнения, словно гончих на луг в воскресный день»¹¹⁸. Исторически мыслить таким «гончим» не требуется.

Историческое мышление, как и любое другое мышление, подчинено законам логики. Мыслить – значит пользоваться понятиями и высказывать суждения. Мысль соотносится с мыслимым, мыслящий субъект нацеливает свои суждения на объект, ставит и решает проблемы, расчленяет и синтезирует данные опыта. Одно описание различных философских и психологических концепций мышления потребовало бы сотни страниц. Применительно к истории можно сказать, что используемый последователями С. Л. Рубинштейна термин «наглядно-образное мышление» характеризует по своей форме мышление историка – даже на уровне научного исследования оно всякий раз выходит за пределы логических операций с понятиями. Основанием теоретической науки является, как писал Кассирер, «чистый понятийный знак», к коему совершается переход от «словесного знака», который еще не оторвался от мира созерцания, от общих представлений. То, как У. Джеймс понимал соотношение «перцептов» и «концептов», вряд ли вдохновит физика, поскольку лишённые чувственной стороны концепты истолковываются им исключительно инструментально, а понятийная схема мира надстраивается над перцептивной, и есть лишь набор «что», помогающих топографически расположить «это»¹¹⁹, но подобное смешение понятий с представлениями характерно для историка.

Применение количественных методов в историографии ограничено, даже включаемые в повествование термины номологических наук чаще всего не утрачивают связи с естественным языком. Такие термины, как «формация» или «цивилизация», «сословие» или «город», не обладают строгостью естественно-научных понятий. В отличие от физика, однозначно определяющего свои термины («масса», «пи-мезон» и т. п.), историк говорит не о «городе вообще», а об античном полисе, отличающемся от Александрии и Антиохии времен диadoхов, не говоря уж о древнем Уре или Лондоне времен Диккенса. Достаточно вспомнить начальные страницы очерка М. Вебера «Город», чтобы оценить это многообразие¹²⁰.

¹¹⁷ Юнгер Ф. Ницше. М.: Праксис, 2001. С. 171.

¹¹⁸ Оукшот М. Деятельность историка // *Его же*. Рационализм в политике. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 151.

¹¹⁹ Джеймс У. Введение в философию. М.: Республика, 2000. С. 44–46.

¹²⁰ Вебер М. Город // *Его же*. История хозяйства. Город. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001. С. 333–486.

Использование повседневного языка, обращение к мыслям и страстям людей роднят историка с литератором. Иные историки были замечательными стилистами, читать их не только полезно, но и приятно. А среди писателей мы легко найдем тех, кто обладал способностью передавать ход времени, причем речь идет не обязательно об авторах исторических романов. Историческое сознание Набокова или Бунина, возвращающихся к переживаниям детства и юности в «Других берегах» и «Жизни Арсеньева», воссоздает и картину России конца XIX – начала XX в. Отличие историка в том, что он занят познанием прошлого, желает получить неопровержимую его картину и соблюдает конвенции, принятые в его дисциплине.

Историческое мышление есть необходимая предпосылка познания, целью которого является точное знание. Только мыслить мы можем все, что угодно, от «золотой горы» до писавших «Велесову книгу» ариев или «русских» этрусков. Повествование должно быть внутренне непротиворечивым, связным, но оно может быть чистой фантазией (скажем, «Сильмариллион» Толкиена) или иметь лишь отдаленное отношение к истории. Возьмем для примера литературное произведение, в котором явственны как историческое сознание, так и историческое мышление – «Искендер-наме» Низами. Поэт XII в. был одним из наиболее образованных людей своего времени, он обращался к давнему прошлому, сознавая, что говорил об ушедшей эпохе, то есть мыслил он исторически. Но он воспроизводил обрывки сведений об Александре Македонском и дополнял их своей фантазией, а потому возглавлял его герой «румийцев» (то есть «ромеев», известных ему византийцев), а сражался он в том числе и с Русами, причем в союзе с Хазарами. Будучи образованным арабо-мусульманским философом, Низами помнил, что учителем царя был Аристотель, споривший с Платоном, а потому повествовал в своих стихах, как по итогу публичного диспута Александр отдает первенство Платону, а потом царь беседует еще и с «отшельником Сократом» (до нас все же дошел образ спорщика на улицах и площадях Афин). Эта замечательная поэма может служить для нас источником, позволяющим судить не об Александре или древнегреческих философах, а об уровне исторических знаний в тогдашнем исламском мире. Равно как и о том, что познанием прошлого тогда не занимались.

Способность исторически мыслить воспитывается. Она не сводится к «вчувствованию», хотя эмпатия является важным аспектом отношения к истории. «Умение понимать характер людей, знание того, как они обычно реагируют друг на друга, способность “проникать” в их мотивы, принципы, ход мыслей и чувств (а это не в меньшей степени применимо и к поведению масс, и к развитию культур) – это таланты, необходимые историкам, они не нужны ученым-естественникам (или нужны им не в такой степени). Способность познания, чем-то похожая на способность познания чужого характера или способность узнавать лицо, столь же важна для историков, как знание фактов»¹²¹. Такое мышление предполагает реализм, учет природы людей, которые требуются не только деятелю, но и тому, кто исследует прошлое. Начиная писать «Государя», Макиавелли говорил об огромности дистанции между тем, как люди живут и как они должны были бы жить, а потому тот, кто отвергает действительное ради должного, действует во вред себе и погибнет, сталкиваясь с множеством преследующих свои интересы лиц; склонный к идеализации того или иного периода, народа, класса и даже героя историк утрачивает ту ясность видения, которая служит объективности рассказа. Но вырабатывается такая объективность опытом понимания не исторических персонажей, а окружающих людей, его современников. Немцы называют ее *Menschenkenntniss*¹²², но можно именовать ее и рассудительностью, здравомыслием, каковые полагались в Античности одной из основополагающих добродетелей – *φρόνησις*, та «практическая мудрость», которую Цицерон определял как «знание того, к чему надо стремиться, и того, чего надо избегать». Другой, не менее важной чертой исторического взгляда на мир является скептицизм, рождающийся из того же здравого

¹²¹ Берлин И. Понятие научной истории // *Его же*. Подлинная цель познания. М.: Канон+, 2002. С. 68.

¹²² Знание человеческой природы (нем.). – *Примеч. ред.*

смысла: почти все доступные нам источники (исключим данные археологии) созданы людьми с их интересами, страстями и предрассудками, которые отличаются от наших собственных – не менее сомнительных.

Наконец, есть еще одна особенность деятельности историка, отличающая его не только от естествоиспытателя, но и от представителя социальных наук. Как заметил Кассирер, «именно богатство и разнообразие, глубина и интенсивность своего собственного личного опыта – отличительная черта большого историка. Без этого труды останутся бесцветными и безжизненными <...> Последовательно вытравляя из рассказа признаки своей индивидуальной жизни, историк не может таким путем достичь высшей объективности. Наоборот, таким образом он может лишь уничтожить в себе лучшее орудие исторической мысли. Притушив свет своего собственного личного опыта, я перестаю замечать опыт других и не могу судить о нем»¹²³. Без опыта политики в своем времени историк мало что поймет в борьбе Мария и Суллы или в гражданской войне в Испании. Не имевшему опыта философствования не стоит заниматься историей философии. Однако все это относится к предпосылкам исторического познания, но не к нему самому.

Познание прошлого

Познание есть отношение нашего сознания к миру, это деятельность, результатом которой является знание. Познавая, мы движемся от данных опыта к тому, что способно их объяснить, от evidence к inference¹²⁴. Такая деятельность ума свойственна уже первобытному человеку, решавшему практические задачи. Знания требовались и строителю пирамид, и навигатору, и торговцу. Практические цели направляли и то знание, которое касалось других людей: чтобы общаться с иноплеменником, нужно знать чужой язык, чтобы управлять поселением, требуется знание о потребностях и верованиях его обитателей и т. д. Над практически ориентированной познавательной деятельностью возвышается знание о мире в целом. Человеческий ум всякий раз обнаруживает, что он сталкивается с внешней для него реальностью, и с детства учится различать только кажущееся и действительное. Вопрос об истине ставится и в мифологии, и в искусстве, опыт священного в религии отделяет наделенную подлинным смыслом реальность от преходящего и лишённого такого смысла. Философское умозрение ставит эти вопросы уже на уровне абстрактных понятий и порождает ряд частных наук. Вопрос о методе возникает вместе с разграничением «пути истины» и «пути мнения».

Хотя возникновение историографии в Древней Греции в меньшей мере связано с философией, чем у прочих наук, вопрос об обоснованности знания ставил уже Фукидид, испытывавший несомненное влияние тогдашних софистов. Рассказ историка о прошлом притязает на истинность, а это предполагает опору на факты, полученные посредством интерпретации источников. Сами документы и артефакты еще не являются фактами для историка, подобно тому как вещи и процессы не представляют собой фактов для физика. Можно сказать, что наличие берестяной грамоты есть факт для обнаружившего ее археолога, но прочитанный текст этой грамоты указывает на автора, адресат, социальные отношения, религиозные верования, повседневную жизнь в Новгороде. Вся совокупность источников образует сеть или комплекс сведений, позволяющих судить о жизни в XI–XII вв. Суждение относительно совмещения язычества с православием в сознании словен новгородских будет фактом, если оно подкрепляется этими сведениями.

¹²³ Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // *Его же*. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарики, 1998. С. 661.

¹²⁴ От фактического доказательства к логическому следованию (англ.). – *Примеч. ред.*

Факты суть не предметы, а установленные истины по поводу предметов, высказывания, которые нашли (и все еще находят) подтверждение. Вещи и отношения между ними воздействуют на нас, входят в поле нашего сознания – факты всегда являются данными сознания. Эмпирическим базисом науки их делает то, что они интерсубъективны, возобновляются и воспроизводятся при смене наблюдателя или истолкователя, подтверждаются и выступают как нечто не менее «упрямое», чем гравитация или невидимые нами социальные институты, побуждающие, например, одеваться определенным образом или переходить дорогу в определенном месте. Наука начинается не с фактов, а с проблем, с выдвижения гипотез, с перехода от незнания о нашем незнании к знанию о незнании и только потом – к уверенному знанию о знании. Историк задает вопросы по поводу источника, на которые он желает получить ответ, ищет связь содержащихся в нем сведений с тем, что скрыто, что не осознавалось самим автором и т. д. Каждый отдельный источник увязывается с другими, проверяется посредством сопоставления – факты устанавливаются через эту работу истолкования и реконструкции.

Правда, в случае истории, да и большинства наук о человеке, под «фактами» подразумевается нечто иное, чем в науках о природе. Инструменты и оружие, дворцы и хижины, деньги и украшения отсылают нас не к физическим свойствам предметов, но к представлениям и ценностям людей. Наши сегодняшние знания о звездах, болезнях или экономике не помогут нам в понимании мотивов поведения людей прошлого, вкладывавших в них иной смысл. Мы сталкиваемся со сходной ситуацией, имея дело с представителями малознакомой нам культуры – не только антрополог в первобытном племени, но и турист в Китае или Саудовской Аравии обнаруживают смысловые различия. Но их ему могут растолковать современники, тогда как историк должен сам открыть эти скрытые значения. Редуцировать смыслы к наблюдаемому поведению не удастся, акты сознания неустранимы в историческом повествовании. Объяснения в нем всегда предполагают интенциональность сознания и служат ему, причем сами объяснения часто имеют телеологический характер¹²⁵. Казалось бы, тем самым находит подтверждение тезис представителей историзма о понимании как господствующем в историографии методе, что отличает ее от прочих наук.

Однако, если мы посмотрим на сегодняшние социальные науки, то обнаружим, что повсюду, где уровень квантификации невысок, мы имеем дело со сходными процедурами. Это очевидно в случае этнографии, где, словами К. Гирца, «теоретические обобщения столь высоко поднимаются над интерпретациями, что вдали от них они теряют смысл и лишаются всякого интереса»¹²⁶, в психологии и социологии сохраняются границы применения количественных методов, поскольку они имеют дело с осмысленным поведением людей; даже в экономике раздаются голоса тех, кто ставит под сомнение и лежащую в основе *economics* антропологию, и подмену социальной реальности игрой математических моделей¹²⁷. Обособление истории на том основании, что она занята прошлым, а не настоящим, неверно уже потому, что все социальные науки имеют дело с изменяющейся во времени действительностью, да и создавались они мыслителями, которые постоянно обращались к истории – достаточно вспомнить Маркса и Вебера, Дюркгейма и Парето. То, что сегодняшний средний социолог или экономист игнорирует историю, еще не является свидетельством того, что сами эти науки стоят вне истории. На стыке ряда социальных наук возникают синтетические концепции («стадии роста», «догоняющая модернизация», «мир-системный анализ» и т. д.), которые нацелены именно на постижение истории.

¹²⁵ Обсуждение логических проблем в исторических науках дано в работе: *Вригт Г. Х. фон. Объяснение и понимание // Его же. Логико-философские исследования. Избранные труды. М.: Прогресс, 1986. С. 35–242.*

¹²⁶ *Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Антология исследований культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. Т. 1. С. 194.*

¹²⁷ Сошлюсь для примера на резкую критику такого рода игр Т. Пикетти: *Пикетти Т. Капитал в XXI в. М.: Ad Marginem, 2015.*

Пока историки остаются членами научной корпорации, они принимают ту картину мира, которую дают другие науки. Разумеется, сегодня трудно говорить о единой «научной картине мира» или о «научном мировоззрении», как в XIX в. В условиях все растущей специализации такой синтез всего со всем вряд ли по силам даже для самого эрудированного теоретика. Учеными нас делает принятие ряда аксиом и установок, характерных для научной рациональности как таковой. Каждая наука вычленяет свой слой или «отрезок» действительности, по-своему «кодирует» его своим языком, что нередко ведет к взаимонепониманию и даже к «конфликту интерпретаций». К тому же одна картина сменяется другой и в пределах каждой из дисциплин, причем историк не может быть одновременно знатоком во всех этих областях. Он вынужден просто считаться с теми теориями, которые разрабатываются его коллегами – прежде всего специалистами в области социальных наук.

Тотальная история

XX век был временем необычайно быстрого развития наук о человеке. Одни раньше, другие позже, они отделялись от философии, становились университетскими дисциплинами, образовывали научные сообщества со своими авторитетами, ассоциациями и журналами. Большинству этих наук был свойствен своего рода «империализм», претензия на то, что они главенствуют в этом открывающемся пространстве знания. Можно вспомнить о том, какими были претензии психоанализа и даже бихевиоризма (Уотсон!) в психологии, как структурализм из лингвистики стремился выйти на простор всей культуры, не говоря уж об экономике и социологии. Марксизм был просто самой притязательной доктриной, да и отличался в лучшую сторону от поделок его оппонентов.

Причины такого «империализма» лишь отчасти связаны со стремлением к мирской славе; в куда большей мере сказывалось то, что открытия и свершения отдельной науки о человеке превращались в аксиоматику для всех остальных. Если все наши мысли и чувства принадлежат психике, то наука о ней приобретала гипертрофированный вид, становилась основанием и математики («психологизм»), и права, и религиоведения. Так как мы являемся «общественными животными», а «социальное нужно объяснять социальным», социология представляла как «наука наук», проясняющая в том числе и то, как в социальном взаимодействии возникали и развивались науки о природе. Самые любопытные результаты такого сорта генеалогий относятся к социальной психологии, которая перенимала амбиции обеих ее составляющих дисциплин. 1000-страничный труд Р. Коллинза об эволюции философских учений является ярким примером удивительного сплава амбиций и невежества. Впрочем, автору этих строк доводилось рецензировать международный проект социальных психологов, желающих применить к истокам астрофизики методики символического интеракционизма – звезды ведь тоже присутствуют в нашей душе, а теории о них порождаются воображением в социальном взаимодействии. Экономисты видят в своей дисциплине «самую научную» общественную науку на том основании, что она в большей степени математизирована. Даже этнографы одно время притязали на то, что методы наблюдения за поведением в микронезийских племенах универсальны и пригодны для анализа жизни в мегаполисах («антропология в метро»).

Не избежала такого «империализма» и история, причем для этого оснований у нее было даже больше, чем у прочих наук. Во второй половине XX столетия произошли огромные перемены в работе историков, которые нередко называли революционными. Конечно, речь идет о профессиональном сообществе исследователей, а не о школьных учебниках, популяризациях, идеологически «правильных» сочинениях приверженцев тех или иных стран и партий. В них мало что изменилось: люди по-прежнему делятся на good guys и bad guys, причем первые либо уже одержали победу, продвинув прогресс к новым вершинам, либо его когда-нибудь достигнут. Даже если академические историки участвуют в спорах, затрагивающих острые полити-

ческие темы, критерии их профессионализма сделались значительно более строгими. Необычайно расширилась тематика, поменялись методы – историки стали задавать иные вопросы и находить иные источники.

Начало этому еще в 1930-е гг. положила социальная история, развивавшаяся прежде всего во Франции (школа «Анналов»), затем последовали экономическая история и связанная с нею *клиометрия*, история повседневности, история детства, верований, вкусов и т. д. Даже самая общая характеристика развития социальной истории в Германии, Великобритании или Франции потребовала бы отдельной обширной статьи. Несомненным было влияние марксизма, но наряду с ним историки обращались кто к Дюркгейму и Симиану, кто к Веберу; «история ментальностей» создавалась с учетом доктрин современной психологии – от психоанализа до когнитивной психологии. Переход от «событийной истории» и всей прежней *histoire historisante*¹²⁸ с ее сосредоточенностью на политической, дипломатической и военной истории, осуществленный основоположниками школы «Анналов» (Л. Февр, Ф. Бродель и др.), не был, конечно, разрывом со всей предшествующей историографией, как это нередко утверждали ее представители. Они сами многое переняли у Вебера и Зомбарта, да и нелепо настаивать на том, что историей институтов ранее никто не занимался – достаточно вспомнить наших В. О. Ключевского или М. И. Ростовцева. Тем не менее изменения были существенными, они поменяли само представление членов этого научного цеха о своей работе. Прошлому стали задавать вопросы, которые были навеяны проблематикой других социальных наук. Ф. Бродель призвал историков научиться говорить языками всех остальных наук о человеке¹²⁹.

Экономические циклы, повторяющиеся серии, групповые конфликты, институционализованные верования, мемориальные празднества, воображаемые миры давних эпох – все это сделалось полем исследований. Переход к так называемой «новой истории» во Франции еще более расширил круг вопросов. Поменялись даже представления об историческом времени. Историки не обязательно следовали за Броделем с его *longue durée*¹³⁰, но, говоря о средневековой цивилизации (Ж. Ле Гофф) или, скажем, о «цивилизации барокко» (П. Шоню), они отходили и от прежней историографии, сконцентрированной на великих личностях и государственных актах, и от историософских грандиозных фантазий по поводу цивилизаций на манер Шпенглера и Тойнби. Своего рода *метатеорией* сделалась «историческая антропология», которая соприкасается как с философией, так и с рядом наук о человеке. Ею обосновывается *методический плюрализм* историографии. При этом сама история становилась своего рода *метанаукой* для всех наук о человеке. Разве социальные науки не изучают исторически существовавшие общества и само сегодняшнее общество не изменяется каждый год и каждый день? Если «умственный инструментарий», как первоначально называл Л. Февр «ментальности», у людей прошлого был иным, то не является ли и психология частью истории? Предложенный в начале XX в. А. Берром термин *тотальная история* был принят как программа

¹²⁸ «Историзирующая история» (*фр.*) – термин историка и философа Анри Берра, издателя «Журнала синтеза» – одного из важнейших периодических изданий, в первой трети XX в. освещавших дискуссии о природе гуманитарного и, в частности, исторического знания. По выражению Люсьена Февра, круг занятий «историзирующего историка», по сути, органичен лишь двумя операциями: «сначала установить факты, потом пустить их в дело». Л. Февр резко критикует такое понимание задач истории и настаивает на теоретическом осмыслении: по его мнению, «без предварительной, заранее разработанной теории невозможна никакая научная работа», само понятие факта нуждается в критике и уточнении, а «историк, отказывающийся осмыслить тот или иной человеческий факт, историк, проповедующий слепое и безоговорочное подчинение этим фактам, словно они не были сфабрикованы им самим, не были заранее избраны во всех значениях этого слова (а он не может не избирать их), – такой историк может считаться разве что подмастерьем, пусть даже превосходным. Но звания историка он не заслуживает» (Февр Л. Историзирующая история. О чуждой для нас форме истории // *Ego же*. Бои за историю / Пер. с фр. А. Л. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова / А. Я. Гуревич (отв. ред.), Д. Э. Харитонович (коммент.). М.: Наука, 1991. С. 68, 69, 70) – *Примеч. ред.*.

¹²⁹ Braudel F. *Écrits sur l'histoire*. P.: Flammarion, 1969. P. 78–83.

¹³⁰ См. примеч. 61 к главе «Отцы кентавров и Клио in partibus infidelium», с. 7–36 наст. изд. – *Примеч. ред.*

школой «Анналов»¹³¹. Так как наше настоящее также принадлежит истории и содержит в себе следы прошлого, то и к ней подход должен быть историческим. Бродель ссылается на те слова, которые Февр раз за разом повторял в последние годы жизни относительно истории: «наука о прошлом, наука о настоящем».

Тем самым поменялись методы, причем преобладал *импорт* их из других дисциплин. Необходимость таких заимствований очевидна: имея дело с экономическими или демографическими процессами в прошлом, нужно ознакомиться с существующими ныне научными теориями. Как уже было сказано выше, историк принадлежит научному сообществу, а потому должен учитывать те сведения, которые дают нам науки о природе, идет ли речь о космологии или химии. Более того, сегодня вспомогательные исторические дисциплины развивались не без участия естествознания (дендрохронология, радиоизотопное датирование, аэрофотосъемка и т. п.), а геология, география и биология издавна входили в повествование историков – полезные ископаемые, морские торговые пути, климат, растения и животный мир учитывались историками и в древности.

Только в случае социальных наук мы имеем дело с набором весьма неопределенных полей знания. Во-первых, существуют несовпадения между разными дисциплинами: социолог и экономист часто расходятся в видении одних и тех же процессов, словосочетание «когнитивные науки» служит «шапкой» для ряда дисциплин, говорящих на непонятных друг для друга языках. Во-вторых, в рамках самих этих дисциплин не было и нет единства. Причем речь идет совсем не обязательно о расхождениях, проистекающих из привнесенной извне идеологии, как это представляется многим марксистам, видящим в противостоящих им доктринах «буржуазную идеологию». Представители кейнсианства спорят с монетаристами, вполне «буржуазный» *mainstream* экономической науки («неоклассика») расходится с «австрийской школой», причем эпитеты, которыми награждают представителей последней, бывают даже более резкими, чем на истматовском жаргоне. О социологии и психологии еще труднее говорить как о «нормальных науках» в терминах Т. Куна, поскольку в социологии даже самые общие понятия по-разному определяются сторонниками Р. Дарендорфа, Н. Лумана и П. Бурдьё (а немало число сегодняшних социологов вообще не считают общество объектом социологии – эта дисциплина «кодирует» социологически все, что угодно). В психологии бихевиористы, когнитивисты и психоаналитики просто не имеют общего языка, а иногда и прямо называют друг друга шарлатанами и невеждами. Само прилагательное «социальный», применяемое представителями всех этих наук, понимается совершенно по-разному, да и где в человеческом мире провести границу между «социальным» и «не-социальным»?

Наконец, применимость методов, разработанных для познания современного общества, к далеким от него социумам и культурам часто вызвала сомнения. Ориентация на новейшие наработки и применение «последнего слова науки» для объяснения давних обществ в терминах дисциплин, разработанных для общества нынешнего, была метко названа П. Бурдьё «этноцентризмом». Да и видение самой истории представителями таких наук далеко от признания ее метатеоретического статуса, поскольку история для них есть некий банк данных. «Историк раскапывает эти данные и затем предоставляет их своим более теоретически мыслящим коллегам, которые затем производят научные обобщения и теории, устанавливая связи между различными видами социальных ситуаций. Эти теории могут затем применяться к самой истории для того, чтобы улучшить наше понимание тех способов, которыми взаимно соединяются ее эпизоды»¹³². Только нацелены эти обобщения на сети отношений, не просто осмыслявшихся людьми в иных терминах, но и существовавших лишь посредством иных смыслов, актуальных только для той эпохи. А потому историческое объяснение куда больше напоминает примене-

¹³¹ Иногда со ссылкой на Мишле с его знаменитым предисловием к многотомной французской истории 1869 г.

¹³² Уиш П. Идея социальной науки и ее отношение к философии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С. 99.

ние знания иностранного языка для понимания разговора, нежели знания законов физики для понимания работы паровой машины. Никакая умозрительная «мир-система бронзового века» или «политэкономия феодализма» не помогут историкам, занятым хоть древним Шумером, хоть трудным периодом Московского княжества в середине XV в. (борьба Василия Темного и Шемяки).

Не будучи специалистами во всех этих дисциплинах, историки заимствовали кажущиеся им наиболее пригодными *ad hoc* методы. Случайность такого рода импорта хорошо видна уже по «классикам»; когда Бродель сочувственно ссылается на Ф. Симиана и Ж. Гурвича, то подавляющее большинство сегодняшних социологов, прослушавших подробный курс по истории своей науки, зададут вопрос: «Кто это такие?» Конечно, историк русской эмиграции вспомнит, что меньшевик Гурвич, писавший в Германии начала XX в. диссертацию о Фихте, потом преподавал социологию в Сорбонне, но сегодня редко кто открывает его заполненные искусственными классификациями многостраничные труды. В силу моды на психоанализ к нему нередко обращались историки, но они брали только то, что им более или менее подходило, причем чаще всего из популярных изложений. Доныне секта свидетелей «травмы исторической памяти» ссылается на Фрейда, хотя о травме, ведущей к истерическому неврозу, он писал только в самых ранних своих трудах, а затем от такого упрощенного взгляда отказался. Занимаясь социологией Н. Элиаса, автор этих строк обнаружил, что во Франции его активно использовал и пропагандировал такой выдающийся историк, как Р. Шартье, тогда как другой, не менее выдающийся – Э. Ле Руа Ладюри, – посвятил сотню страниц уничижительной критике этого социолога. В рамках самой социологии у Элиаса имеется небольшое число последователей в Голландии и немецкоязычных странах, но и в них былая мода уже прошла. Следует ли из этого, что историку нельзя использовать подходы Элиаса к «процессу цивилизации» или к придворному обществу? Разумеется, никак не следует. Но стоит ли тогда ссылаться на авторитет социологии как науки? Или видеть в том, как этот социолог обосновывал свою теорию с помощью психоанализа, образец для подражания?

Таких примеров можно было бы привести изрядное число. Заимствования следовали и за интеллектуальными модами, теми доктринами *comme il faut*, которые отвечали веяниям в «левой» университетской среде. Когда в ней совершается переход от Сартра и Адорно к Фуко и Деррида, то можно ожидать появления сочинений историков, в которых какую-то роль начинают играть то «авторитарная личность», то «микрoфизика власти».

Конечно, далеко не все заимствования были бесплодными. Если нынешний политолог использует математическую теорию игр, применяя ее к выборам сегодняшних президентов и сенаторов в США, то почему не использовать ее для выборов тех же персонажей в XIX столетии? Если так называемая «теорема Томаса» работает при осмыслении массового поведения в наше время, то она потенциально применима и при изучении биржевого краха 1929 г., и гонений на христиан во II в. н. э. Историческая наука обогатилась новыми инструментами. Методологический плюрализм сам по себе совсем не обязательно плох и не сводится к болтовне о «мультидисциплинарности», но он никак не может сделаться основанием *тотальной истории*. А именно такая разносторонность, даже всеядность, предлагалась в качестве фундамента – на место Провидения или Разума в качестве такого базиса пришла деятельность коллективного субъекта, цеха академических историков с их дистинкциями и синтезами по чужим прописям.

Разница с прежней философией истории заключается именно в том, что *тотальность* обеспечивается не умозрением, не априорным принятием того, что человеческая природа определяется стремлением к разуму и свободе (Кант, Фихте) или направляется абсолютным духом (Гегель). Идея всемирной истории доныне несет на себе след такого умозрения, хотя на практике она выступает как некое предельное понятие, горизонт, на котором видимы очертания тех или иных действующих субъектов. Более приземленные версии, будь то либеральная *Whig history* или исторический материализм, сохраняли целостное видение истории и задавали

рамки, горизонт эмпирических исследований. Более того, марксизм оказал немалое влияние на историографию XX в., причем он никак не сводится к набору *self-fulfilling prophecies*¹³³, как утверждал К. Поппер. Кстати, сам термин «тотальная история» принадлежит и Г. Лукачу, обосновывавшему ее возможность в своей ранней работе «История и классовое сознание». От нее идет прямая линия сначала к «эмансипативной теории» Ю. Хабермаса в «Познании и интересе», а затем к множеству сегодняшних «освободительных» сочинений. Поменялся лишь субъект такой тотальности: от рабочего класса, превращающегося из «класса-в-себе» в «класс-для-себя», произошел переход к всякого рода меньшинствам, свобода коих должна означать свободу для всех. Пока под диалектикой подразумевается гегелевское движение от абстрактного к конкретному, а учение об экономических интересах социальных групп не перетекает в спасительное для человечества знание, марксизм вполне приемлем и для лишенного веры в доктрину историка. Если же «невидимая рука рынка» или «классовая борьба» ведут человечество к некоей цели, то мы имеем дело с лежащей за пределами науки телеологией. Есть закономерности, которые наблюдаемы в истории, но нет *законов Истории*, пока мы остаемся в пределах эмпирического знания.

Ни прежняя историософия, ни безбрежный плюрализм, переходящий в «этноцентризм», не могут выступать в качестве основания исторической науки. Историком полезно познакомиться с философскими учениями прошлого и настоящего – и Гегеля, и П. Рикёра читать стоит; он обязан знакомиться с нынешними теориями социологов и экономистов, разбираться с социальными структурами и институтами обществ прошлого. Даже наработки генетиков могут оказаться бесполезными (хотя вступать в секту поклонников какой-нибудь гаплогруппы совсем не обязательно). Однако все это не дает нам *тотальной* науки – об этих притязаниях можно забыть. Да и о какой тотальности может идти речь, если вид *homo sapiens* существует примерно 100–150 тысяч лет, а границей истории по-прежнему остаются бесписьменные общества? Гадательные суждения относительно племен, которым принадлежали глиняные черепки, конечно, имеют свою цену (даже если иной раз порождают химеры, вроде «скифов-пахарей»).

Если историю от прочих наук отличает не предмет (все социальные науки обращены на него) и не метод – понимание, интерпретация мотивов и мыслей важны для всех изучающих человеческую реальность, – то что же является специфичным для историков? Это не *нарративность* – социолог, психотерапевт и этнограф также рассказывают о полученных ими результатах исследований. Таковым не может быть и внимание к процессам, возникновению и развитию во времени, поскольку экономические циклы, демографические изменения, конфликты социальных групп протекают во времени.

Мы возвращаемся тем самым к историцизму, который является основным принципом историографии как таковой, но обретает теоретическое воплощение в трудах представителей *Historicismus* как интеллектуального течения европейской мысли конца XIX – начала XX в. У истории нет монополии на герменевтику или «отнесение к ценности», методологический дуализм безусловно принадлежит прошлому, равно как и свойственная тому времени оппозиция «духа» и «природы». Обоснована критика «романтической герменевтики» Х. Г. Гадамером: в качестве основного метода эмпатия ведет не к проникновению в прошлое, а к его искажению. Кстати, это относится и к другим наукам о человеке – склонность подменять методологическими изысками вдумчивое проникновение в социальные и политические процессы ведет к слепоте как ученых, так и непрестанно разрастающегося племени экспертов. У истории име-

¹³³ «Самосбывающиеся пророчества» (*англ.*) – термин Карла Поппера, подразумевающий, что вероятность исполнения прогноза зависит от целенаправленных действий людей, владеющих информацией, содержащейся в прогнозе, и заинтересованных (или, напротив, незаинтересованных) в воплощении предсказанных событий в действительность. – *Примеч. ред.*

ется множество методов, разработанных прежде всего вспомогательными дисциплинами, но нет только ей присущего Метода.

Наследием историзма сегодня является не утверждение особого метода, но указанные выше скептицизм и реализм, понятые не как метафизические доктрины (тогда они находились бы в оппозиции друг к другу). Скептицизм отличается от релятивизма, утверждающего, что все точки зрения равно возможны и приемлемы – *anything goes*, как говорят ныне. Исходным является стремление к научной истине, а наука неизбежно придерживается корреспондентной теории истины. То, что наши суждения об изменениях климата, неандертальцах или социальной структуре древнего Вавилона гипотетичны, не отменяет того, что мы стремимся к искомому соответствию с реальностью, *wie es eigentlich gewesen*¹³⁴. Критическая оценка нашего знания характерна для любой науки, для историков же свойствен скептицизм обостренный, близкий пробабилizmu не в современных его версиях (вероятностный взгляд на физические процессы), а самому раннему его варианту Аркесилая и Карнеада скептического периода платоновской Академии. Этот взгляд был характерен для ведущих представителей исторической науки XIX в., вроде Л. фон Ранке и К. Бурхардта в их полемике с Гегелем – «великие повествования» начали критиковать не со времени Ж.-Ф. Лиотара.

Но такой скептицизм уравновешивается реализмом, который также имеет свои особенности. Если подбирать термин из метафизики, то можно окрестить его «гипотетическим реализмом». Уверенность в том, что мы изучаем саму природу, присуща любому ученому, но в современной науке на предмет исследования налагаются теоретические схемы, модели, теоретические конструкции. Они поверяются путем контролируемого экспериментального вмешательства, гипотеза должна быть «оправдана» (*justification*) и подтверждена наблюдением. Особенностью истории является то, что ни наблюдать, ни вмешиваться, ни контролировать опыт мы не в состоянии – у нас есть только следы, свидетельства, «улики». Историк имеет дело с требующими истолкования знаками. Реализм здесь определяется «фактичностью» в ином, чем в естествознании, смысле – сегодня для нее употребляется слово «контингентность». Бывшее некогда с людьми в известном смысле случайно и даже иррационально – в существовании именно такого спартанского илота, китайского даоса, созданного усилиями строителей акведука или собора, нет никакого предзаданного смысла. Как и закона, согласно которому молодой граф Роккасекка сбежал из замка, стал монахом-доминиканцем, проучился у Альберта Великого, а затем прославился как автор «Суммы теологии» и умер в Тулузе. Фр. Ницше случайно покупает в лавке потрепанный том А. Шопенгауэра – без чтения «Мира как воли и представления» он не создал бы свое учение (или создал бы какое-то совсем другое). Был Константин Великий, которому однажды перед битвой привиделось *in hoc signo vinces*¹³⁵, – и он изменил империю, в которой на тот момент не было и десятой части христиан, а тем самым и ход истории. Викинги и йомены, феодальные бароны и придворные времен Людовика XIV не служили логике всемирной истории в качестве пешек для достижения такой странной цели, как приуготовление нынешнего мира (а в особенности тех статей и диссертаций, которые мы о них пишем). Лишь задним числом мы выясняем, каковы их «классовые интересы» или «групповая динамика» – сами они осмыслили мир иначе и действовали в соответствии с такими мыслями. Если возвратиться к языку основоположников социологии, еще принимавших во внимание историю, существуют «сообщества судьбы» (*Schicksalsgemeinschaften*), вроде общин, гильдий, провинций и даже кружков каких-нибудь «юношей архивных», почему-то начинающих читать Шеллинга и Гегеля в Москве 1820-х гг. Вряд ли можно назвать наше обращение к ним «диалогом», поскольку они не могут прочесть нам лекцию о том, как их изучать и стоит

¹³⁴ Как это было на самом деле (*нем.*). – *Примеч. ред.*

¹³⁵ «Под этим знаком ты победишь» (славянский вариант фразы: «Сим победиши») – слова, которые, согласно преданию, будущий римский император Константин I увидел в небе рядом со знаком креста накануне битвы с императором Максенцием. – *Примеч. ред.*

ли переходить от «социологии ролей» к «фреймам». История остается описательной наукой и после того, как историки научились говорить на языках статистики и когнитивных наук.

Так что формула Ранке, согласно которой каждая эпоха на свой манер соотносится с Богом и ценность ее заключается не в том, что из нее произойдет, но в самом ее неповторимом существовании, является самым кратким определением такого реализма. Конечно, историка интересует и то, что переходит из одной эпохи в другую, как развиваются институты, нравы, идеи, ритуалы. Однако он смотрит на то, как одно прошлое перетекает в другое – а оценивать, как оно доньше воздействует на настоящее, хвалить и хулить его есть кому и без него. Он не ставит перед собой и задачи изменить настоящее, рассказывая о прошлом, пока остается историком. Именно *инаковость* прошлого делает его объектом созерцания и описания. Хотя они сами принадлежат истории, историки куда менее социологов склонны заниматься рефлексией по поводу того, что взгляд ученого детерминирован принадлежностью к какой-то социальной группе, вроде WASP или «белого представителя среднего класса». «Классики» социологии – Вебер и Дюркгейм, Теннис и Зиммель – такого сорта идеологическим самокопанием не занимались и считали общества прошлого реально существовавшими; вероятно, потому, что их исследования опирались на огромный исторический материал, они и доньше интересны для историков, тогда как последующий конструктивизм в социологической теории к историческим штудиям не прививается¹³⁶. Если мы имеем дело с *иным*, то оно конституируется как независимый от нас объект созерцания и описания. «Оптика» историографии такова, что фиксирует общности, игнорируемые социальными науками. Например, для социологии такая общность, как «народ», чаще всего незаметна, а экономисты, говорящие доньше о «народном хозяйстве», эту реальность вообще игнорируют, равно как реальность «храмового хозяйства» в Шумере или средневековой гильдии. Историк изначально видит сообщества (*Gemeinschaften*) и лишь затем применяет методы, разработанные для видения *Gesellschaften*¹³⁷.

Тем самым мы возвращаемся к историзму в его самом раннем воплощении в ткань научных исследований. Как ни странно, реализм историографии опирается на романтизм с его «индивидуальными тотальностями». Для постижения этих некогда бывших, но унесенных ветрами времени людей и форм их сосуществования приемлемы и даже иной раз необходимы формулы и открытия куда более строгих, чем история, дисциплин. Но все эти формулы служат цели понимания *иных*, нежели наши собственные, обществ и культур. История является, наверное, самой «а-теоретичной» наукой, если только не вспомнить о том, что исходно «теория» означала созерцание. Даже если не принимать учение Гегеля об абсолютном духе, он писал о таком созерцании последовательного ряда, «в котором один дух сменялся другим и каждый перенимал царство мира от предыдущего»¹³⁸. Гегель называл эти духи «гештальтами», толкуемыми как проявления сознания и самосознания.

Если выйти за пределы идеалистической «философии духа», то мы обнаруживаем меняющиеся формы взаимодействия. Индивиды всегда включены в те или иные из них, «человек вообще» является абстракцией, удобной для конституций и деклараций прав, но вряд ли пригодной для историка. Одни формы чрезвычайно стабильны: возникнув в неолите, земледельчество мало изменялось тысячелетиями, равно как формы семьи, религиозных обрядов и т. п. Другие приходят на короткое время, куда более связаны с творческими усилиями индивидов. Поэтому одни историки сосредотачивают свое внимание на долговременных процессах,

¹³⁶ Эта утрата исторического измерения социологической теории произошла достаточно давно. Как писал в конце 1960-х гг. Н. Элиас, произошла утрата видения долговременных процессов, каковой были наделены «классики», тогда как «социальные системы» послевоенной социологии таким видением уже не обладали. См. его предисловие 1968 г. к работе «О процессе цивилизации»: Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования: В 2 т. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Т. 1. С. 19–29.

¹³⁷ *Обществ (нем.) – Примеч. ред.*

¹³⁸ Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // *Его же*. Сочинения: В 14 т. М.: Политиздат, 1959. Т. IV. С. 434.

перенимают языки экономики, географии и даже геологии (Бродель), тогда как другие остаются верными романтической герменевтике, имея дело с великими личностями или группами, вроде поэтов и мыслителей (Sturm und Drang¹³⁹ в Германии, Серебряный век в России). Различаются и их теоретизирования: в «клиометрии» индивиды почти взаимозаменяемы, тогда как для других подходов в исторической науке сословия и народы обретают личностные черты. Например, у Карсавина личности более широкого объема «стягивают» личности более узкого, но репрезентируются через них: ремесленника мы отличаем от купца или дворянина, русского от немца, но сословие и народ всегда опознается нами по отдельному представителю.

Иначе говоря, мы имеем континуум подходов и отвечающих им методов. В любом случае историк имеет дело с социальными существами, вступающими в связи, которые образуют долговременные или кратковременные структуры. Основанием всей работы историка по-прежнему остаются поиск, отбор, интерпретация и систематизация источников. Взгляд историка иначе «вырезает» объекты исследования, иначе их располагает и изучает. Его труд нередко сравнивали с деятельностью следователя – он идет по оставленным следам, чтобы найти «преступника», то есть того, кто замысливал и совершал действие. Хотя к диахронии обращаются все науки о человеке, для историка – даже если он в рамках своей «микроистории» обращается к кратковременной сцене – исходным пунктом и целью постижения являются происходящие во времени изменения, потоки, напоминающие *длительность*

¹³⁹ «Буря и натиск» (*нем.*) – литературное движение в Германии 1770-х гг., получившее название по одноименной драме Ф. М. Клингера, отрицающее принципы классицизма и рококо и поставившее в центр своей эстетической программы изображение ярких характеров и сильных страстей. – *Примеч. ред.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.